Сергей Ауслендер

Ночной принц



Ночной принц
Сергей Абрамович Ауслендер

Аннотация
Сергей Абрамович Ауслендер. Ночной принц
I
Ночной принц. Романтическая повесть
Глава первая,. в которой говорится о странных мечтаниях Миши Трубникова, о купальщице, разбитой тарелке и желтой даме
Глава вторая,. в которой говорится о роковой встрече, Мишиной неловкости, о балете и многом другом
Глава третья,. в которой заключены скучные, но необходимые рассуждения на мосту
Глава четвертая,. в которой описано все, что случилось в «Розовом Лебеде», а также появление «Ночного Принца»
Глава пятая,. в которой описано коронование Миши Трубникова и все, что этому предшествовало
Глава шестая,. в которой описано последнее приключение этой ночи
Глава седьмая,. в которой описано все, что произошло утром, следующим за ночью

Эпилог,. в котором все невзгоды и чудесные приключения Миши Трубникова являются только смутными воспоминаниями
Ставка князя Матвея
I
II
III
IV
V
VI
Роза подо льдом
I
II
III
IV
Филимонов день
Филимон-флейтщик
I
II
III
IV
V
Туфелька Нелидовой. Таинственная история
I
II
III

IV
Ганс Вреден
I
II
III
IV
II
Пастораль
I
II
III
IV
V
VI
Веселые святки
I
II
III
IV
V
VI
У фабрики
I. Завязка
II. Испанцы
III. Poste d’amour
IV. Свадьбы

V. Прелестница
VI. Кукушкино
VII. Подлесье
VIII. У ворот

Аннотация

Однажды, сумрачным вечером, когда вы будете бродить, отуманенные чарами Петербурга, вам могут встретиться таинственный барон и его компаньон. Они предложат вам, как когда-то молодому лицеисту Мише Трубникову, стать «Ночным принцем», а в награду за это выбрать любовь, власть или мудрость. Но будьте осторожны с выбором, ведь за него потребуют вашу бессмертную душу…

Городские мифы оживают под пером трагически погибшего Сергея Ауслендера в его сборнике «Петербургские апокрифы». Вслед за мистическим «Ночным принцем» мы отправимся вглубь истории: от восстания декабристов до самых истоков Северной столицы – правления Петра I…

Сергей Абрамович Ауслендер
Ночной принц

Эта книга посвящается И. А. Зборовской

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2024

I[1]

Камни мостовых, стены старых домов, площади, дворцы и церкви много таят в себе загадочных, странных историй. Страшные преступления, прекрасные подвиги совершались здесь когда-то.

Никто не знает, что было, как было.

Когда в сумерках брожу я, отуманенный чарами вечернего города, по этим же улицам, мимо этих же дворцов, вдоль блестящих каналов — мне начинает казаться, что слышу далекие голоса, вижу давно забытые лица, воскресает в призрачном очаровании то, что когда-то жило здесь.

Томные вздохи любовников в аллеях Летнего сада, предсмертные стоны декабрьских романтиков на великой Дворцовой площади, грозные трубы Петра — все еще не замерли, не заглушены суетой нашей жизни.

Прими, любезный читатель, несколько историй, навеянных грезами о славном, веселом, жестоком и необычайном Петербурге минув-

---

[1] Примечания: 1

Рассказы, здесь помещенные, были впервые напечатаны в журналах «Аполлон», «Весы», «Новая жизнь», «Новый журнал для всех», в газетах «Речь», «Современное слово» и «Утро России». — Примеч. авт.

шего.

То, что вычитал в старых книгах с пожелтевшими страницами, то, что пригрезилось в странные часы сумерек, то, что рассказали мне безмолвные свидетели великих тайн, — соединил я в этих историях для того, чтобы, насколько хватит слабых сил моих, прославить тебя еще раз, о, Петербург!

С. А.

Ночной принц
Романтическая повесть
Глава первая, *в которой говорится о странных мечтаниях Миши Трубникова, о купальщице, разбитой тарелке и желтой даме*

На оных изображены персоны.

Из аукционных публикаций

«Государь мой. Всякий поступок должен иметь свои причины. Чем прикажешь извинить вчерашнее твое поведение? Сервиз, из коего ты разрознил рыбную смену, стоил мне 500 рублей ассигнациями, но ты знаешь, что не убыток возмутил меня. Наденька и я с тревогой ожидаем твоих объяснений, так как припадок твой охотнее считаем мгновенным затмением разума, чем дерзостью.
Остаюсь преданным слугой твоим
Князь Григорий».

Уже не слишком раннее утро тусклого, метель-

ного петербургского дня и письмо на толстой серой бумаге, надписанное почерком тонким и строгим — «Милостивому Государю Михаилу Ивановичу Трубникову в красный дом противу Вознесенья, в собственный руки», — разбудили молодого человека в большой квадратной комнате, соединяющей в себе некоторое притязание на роскошь и заброшенность почти нежилого помещения.

Было ему на вид лет пятнадцать. Тонкие черты его не были лишены приятности, хотя их несколько портили коротко и неровно подстриженные волосы и бледность лица.

Смущенно скомкал он полученное письмо, сунув его под подушку, почти не читая. Тяжелая растерянность охватила его. Беспокойный блеск глаз говорил о каких-то тайных, мучительных тревогах. Еще не совсем отошли ночные видения, каждую ночь одни и те же в этой комнате, а письмо с досадной живостью напомнило ему все события вчерашнего дня и за ними длинную цепь других дней, тоскливых и тягостных. Все смешивалось, и все томило: и скучный наставительный голос князя Григория, и розовое личико Наденьки, в которую он еще недавно считал себя влюбленным, и завешенная купальщица на стене

в дядином кабинете, и разговоры с Пахотиным, тягостные и влекущие, и вечер в ресторации, и она, своей улыбкой переполнившая чашу всех мучительств и сомнений, обольстительное наваждение, лукавая прелестница, от которой остались после вчерашнего обеда одни черепки, но странными чарами живая теперь навсегда в беспокойных снах, в сумеречных видениях, колдунья в желтых шелках, с тайным намеком трех мушек, носящая пышное и роковое имя — она, Маркиза Помпадур.

— А вы бы, сударь, вставали, — со сдержанным осуждением сказал, наконец, Кузьма, потому что Миша, натягивая одеяло на голову, делал отчаянную попытку отвратить несносную минуту вставанья, в чем старый слуга справедливо находил непорядок.

Как бы пойманный на месте преступления, Миша начал одеваться с покорной поспешностью, не решаясь даже поставить на вид Кузьме нечищенные сапоги и нерасправленный мундирчик. Почтительная наглость избалованного лакея угнетала его и приводила в раздражение, которое он, впрочем, всеми силами старался скрыть, равнодушно задавая вопросы о погоде и делах несложного дядиного хозяйства, над коим был он

теперь поставлен временным господином.

Миша наскоро окончил незамысловатый свой туалет, даже не пригладив смешно торчащие кустики волос, обезображенных небрежной рукой лицейского цирульника Ефимыча. Кузьма подал ему на исцарапанном подносе убогий завтрак; помахав метелочкой по диванам и столу, исполнил обряд уборки комнат и, наконец, уплелся на людскую половину, что-то ворча себе под нос о непорядках.

Жареная картошка с селедкой и вчерашнее пересушенное в мочалку мясо отбивали аппетит. Во рту было гадко; вялость после тяжелого сна не пропадала. По привычке Миша стал ходить по комнатам — их было пять, и каждая странным убранством своим походила одна на другую. Казалось, хозяин их, сделав удачный набег на дворец Бахчисарайского султана, не знал, куда поместить награбленные богатства, и заполнил все комнаты свои оттоманками, мягкими коврами, парчовыми занавесями с полумесяцем и арфами, цветными фонарями, золочеными саблями и кинжалами — словом, всем, что дает обстановке название «восточной». Затейливыми ширмами с огненными птицами и золотыми драконами были тщательно заставлены все принадлежности

домашнего обихода, обеденный стол, кровать, умывальник, чтобы ни один из презренных сих предметов не выдавал, что это мирное обиталище почтенного, правда, холостого чиновника 5-го класса, а не легкомысленный приют для каких-нибудь нескромных утех молодого повесы. Такова была фантазия Мишиного дяди, Дмитрия Михайловича Трубникова, в квартире которого проводил он одиноко свои Рождественские каникулы, преследуемый странными, часто самому ему непонятными мыслями, мечтами и даже видениями.

Тихо раздвигая свешивающиеся над каждой дверью занавеси, переходил Миша из комнаты в комнату; останавливался у замерзших окон, за которыми густо валил снег и в пустынном переулке спешно пробегал редкий прохожий, представляя своей закутанной фигурой, какой стоит на улице мороз; и уже сладкая, знакомая томность ранних сумерек и пустых комнат овладела им.

У Вознесенья изредка звонили. Еще раз постояв у окна, Миша тихо-тихо, как бы прокрадываясь по мягким коврам, прошел ряд комнат, помедлил у последней двери, огляделся и вошел.

Это была большая комната с четырьмя диванами по стенам, называвшаяся почему-то

кабинетом. С притворной небрежностью Миша побродил по комнате, потрогал замысловатые чубуки, стройным рядом выставленные в бронзовой подставке, погрел руки у жарко натопленной печи и, только развалившись в шелковых подушках дивана, наконец поднял глаза.

На противоположной стене висела завешенная купальщица.

Уезжая, дядя прикрыл картину двумя концами окружающих ее занавесок, сказав со смешком: «Это для тебя еще рано». Только голова в голубом венке в полуоборот и кончик голого плеча были видны на зеленоватом небе.

Сначала Миша не поддавался власти этих ласковых глаз; равнодушно даже что-то посвистывал и твердо убеждал себя, что все это чушь и дребедень, но незаметно для себя скоро он уже не отрывался от задорного и слегка как будто удивленного лица купальщицы. Все тело сделалось сухим, как в лихорадке, и только шелк подушек холодил приятно и нежно. Так пролежал он на низком диване до самой темноты. Почти сливались очертания мебели и едва-едва смутно выступало розовое плечо и лицо задорное и вместе с тем печальное и напряженное.

Вдруг ему показалось, что портрет пошеве-

лился.

Совсем слегка дрогнули углы губ, и Миша узнал вчерашнюю улыбку желтой дамы, взглянувшей на него в ту минуту, когда он в смущении тыкал ножом рыбную котлету.

Стыд окрасил его щеки. «Погоди же, проклятая колдунья», — прошептал он со злобной горечью, вспомнив о вчерашнем позоре и разбитой тарелке.

Порывисто вскочил он и трепетной рукой сорвал занавеску.

Плотная туника покрывала все тело ее, кроме кончика плеча, и еще явственней различил он насмешливую улыбку. Быстро, едва задерживая шаги, чтобы не побежать, вышел Миша из кабинета. Нежный, как звон тысячи серебряных колокольчиков, смех преследовал его из темноты комнат. Кузьма храпел в передней. На ходу натягивая шинель, Миша бросился на улицу.

— Ба! Куда? А я вчерашний вечер… — Улыбающийся, весь в снегу стоял в подъезде Пахотин, хлопал рука об руку и, захлебываясь, уже что-то рассказывал, нимало не обращая внимания на растерянный вид приятеля.

Глава вторая,
в которой говорится о роковой встрече, Мишиной неловкости, о балете и многом другом

Кончился второй акт балета «Торжество Клектомиды, или Ленивый обольститель». Сделав прощальный пируэт, Истомина улетела в розовые кулисы. Кордебалетки улыбались каждая своему обожателю.

Пахотин неистовствовал. Сорвавшись со своего места в тринадцатом ряду, он подбежал к оркестру, бесцеремонно растолкав нескольких штатских старичков, и хлопал, перевесившись через барьер, пока пухленький амур из веселой толпы воспитанниц лукаво не погрозил ему золоченой стрелой. Тогда он возвратился на свое место, потный и торжествующий, мало стесняясь насмешливых улыбок гвардейских франтов и дам, наводящих на него из бельэтажа язвительные лорнеты.

— Цыдулька моя возымела действие. Знатную протекцию себе я составил. Ты заметил ли, как она сложена? Только шестнадцатый год пошел, а

князь Василий уверяет, будто…

Пахотин говорил громко и хвастливо. Миша слушал его, восхищаясь и завидуя. Он то краснел от стыда, что к их разговору прислушиваются любопытные соседи, то бледнел от волнения, когда слова его друга становились слишком нескромными и увлекательными.

— Полно, полно. Что ты, — смущенно бормотал он, вместе и боясь, и желая продолжения соблазнительных речей.

— Да что. Я тебе такое покажу! Поедем сегодня с нами ужинать. У меня карета припасена, прямо отсюда и поедем, — уговаривал Пахотин приятеля и, нагибаясь, рассказывал шепотом последние подробности, так что старичок, сидевший спереди, не удержался, громко крякнул и потянул ухо в их сторону.

Миша вспомнил, что у него в кармане шесть рублей, которых должно хватить к тому же до конца праздников, и решительно отказался. Пахотин обиделся и ушел курить.

Пышная зала с нарядной публикой, с золотом и светом томила Мишу. Рассказы Пахотина, нимфы и амуры в полупрозрачных одеждах, открывающих розовое трико, обманно манящее воображение, модницы в ложах с открытыми для

жадных взоров шеями и руками, самый воздух, сладкий и теплый, исполненный соблазна, — все сливалось в одно томительное желание.

— Благодарствуйте, — с чопорной улыбкой сказала девица в сиреневом платье, когда Миша поднял оброненную афишку и, весь пунцовый, на несколько секунд заградил ей проход. Она с изумлением посмотрела ему прямо в глаза, не понимая его смущения.

— Благодарствуйте, — еще раз произнесла она и слегка отодвинула его локоть, мешавший пройти. Миша долго стоял, как в столбняке, хотя он даже не разглядел, красива ли она или нет. Соседи посматривали на него пренебрежительно — он отдавил им ноги, оказывая неловкую услугу барышне.

— Что я тебе покажу. Пойдем-ка, пойдем-ка, — вновь тормошил его Пахотин, таща за руку из залы, хотя музыканты уже готовились начать прелюдию, а капельдинеры тушили свечи.

В узеньком корридоре прогуливались, толкались и волочились. У третьей ложи с левой стороны было как-то особенно тесно. Около колонок толпились несколько уланов и штатских. Дамы, проходя, оглядывались презрительно. Миша еще через головы разглядел высокий, с

белыми перьями ток из серого меха.

Пахотин ловко протолкнул его вперед. На ступеньках к ложе стояла дама. На ней было платье темно-розового бархата; драгоценное колье ослепляло и мешало разглядеть камни подробнее, сережки — крупный жемчуг в золотых полумесяцах — свешивались почти до плеч. Черные, слегка вьющиеся волосы и нежная смуглость лица говорили о южной родине дамы. Пудра, ярко накрашенные губы и глаза, тонко подведенные голубой краской, преднамеренной искусственностью своей придавали лицу невыразимую соблазнительность. Она была стройна и тонка, как мальчик. Казалось, она не обращала никакого внимания на глазеющую публику. Серые, томные глаза ее были равнодушны и печальны. Как королева, она спустилась со ступенек, подобрав тяжелый подол в золотых звездах; толпа расступилась перед ней с шепотом. Медленно прошла она по корридору и скрылась в дамской уборной.

— Кто она? — толковали в кучке мужчин.

Никто точно не знал.

— Испанка. Граф Н. вывез, — сказал кто-то неуверенно.

— Неправда, та была толстая.

— Похудела…

— С чего бы ей худеть?

Все смеялись возбужденно. На проходящих красавиц даже не смотрели. И правда, все женщины после нее казались грубыми, непривлекательными и одетыми бедно и без вкуса.

Когда Миша входил в полутемную залу, помраченный, взволнованный, на сцене уже танцовала Истомина, расплетая желтую вуаль, поднимаясь на носки, кружась, изнемогая и маня; ленивый Гульям лежал на одиноком ложе, а девять муз, ссорясь в сторонке, готовили победу своей любимице.

Во время действия Миша не раз украдкой посматривал на третью ложу с левой стороны.

Дама сидела совершенно одна, облокотясь в небрежной позе на барьер. Развернутый веер закрывал нижнюю половину лица, и только глаза, как бы исполняя докучливую работу, равнодушно наблюдали возню, происходившую на сцене.

В эту минуту Клектомида уже соблазнила ленивого Гульяма, и, поднявшись, он выражал в быстром танце пламень страсти, Клектомида — свою радость, а все участвующие (девять муз, амуры, нимфы, пейзане и пейзанки, турки и Аврора), кружась в grande valse finale, — общее

удовлетворение. Наконец кавалер упал на одно колено и, подав руку балерине, помог ей взлететь ему на плечо; все застыли в живописных позах.

Занавес медленно опустился, скрывая блаженство торжествующей Клектомиды и ее нерешительного возлюбленного.

В корридоре Миша потерял Пахотина. Он не помнил, в какой стороне оставил свою шинель, и машинально пошел налево. Лакей уже накинул даме синюю на соболях шубку и, прокладывая ей дорогу, толкнул Мишу весьма неучтиво. Тот гневно оглянулся и встретился с ней лицом к лицу. На одну секунду она приостановилась под его почти безумным взглядом. Ему показалось, что совсем слегка углами губ она улыбнулась. Это была та же проклятая улыбка. Миша отступил на шаг, отдавил чей-то подол и, оступившись, полетел через три ступеньки головой вниз. Когда он поднялся, дамы уже не было. Два лакея, взявшись за бока, хохотали, указывая на него пальцами. Сконфуженный, потирая ушибленное место, Миша поспешил спрятаться в толпе и найти свою шинель.

Гвардейцы в тяжелых бобрах громко сговаривались, куда отправиться. Дамы, выставляя из-под шуб ножки в золоченых туфлях, жеманно пища-

ли. У подъезда гарцевали с факелами два гайдука. Дворники бегали и выкрикивали кареты.

— Иван с Галерной, — кричал кто-то пронзительно.

— Завтра, милая, завтра.

Кого-то подсаживали; кому-то целовали ручку; из быстро захлопнувшейся дверцы кареты вывалилась записка, и офицер ловко поймал ее на лету.

Миша пробирался сквозь веселую толпу, одинокий и сумрачный. На площади он едва перелез через сугробы, навалившиеся за вечер. Отбиваясь от наезжающих ванек, он вышел на Невский.

— Пади, пади, — раздался свирепый крик, и Миша едва успел броситься из-под кареты в снег.

У тусклого фонаря он ясно разглядел в промелькнувшем окне две соединенные поцелуем тени.

Глава третья, *в которой заключены скучные, но необходимые рассуждения на мосту*

Миша шел, уткнувшись в воротник и засунув руки в карманы. Охваченный тяжелым волнением, он не замечал ни мороза, ни снега,

задавшегося, казалось, целью засыпать весь город по самые крыши, ни улиц, которые он быстро проходил одну за другою, поворачивая за углы, возвращаясь назад, опять идя прямо, как бы предавшись какой-то посторонней силе, благой и премудрой.

Наконец, он остановился на высоком мосту над канавкой.

Снег густой сеткой заплетал дома, и, казалось, кругом расстилалась глухая площадь, на которой бегали, кружились, сплетались существа, то угрожающие и злобные, то манящие и ласковые. Облокотясь на парапет, Миша прислушивался к причудливой их игре. Снег замел почти весь мост с высокими статуями и нежно ложился на плечи, голову и руки.

Так стоял он, вглядываясь в мятель, пока не почувствовал острой боли в отмерзающих пальцах.

Тогда Миша попрыгал на середине моста и, прячась от ветра, обернулся к противоположной стороне. Сквозь снег светился второй этаж углового дома по набережной. Танцующие пары проходили одна за другой в освещенных окнах.

Как зачарованный, не мог оторваться Миша от праздничного зрелища. За полузамерзшими

стеклами призраками казались ему легко скользившие, приседавшие и кружившиеся пары. В плавных движениях их передавалась и неслышная музыка, и нежные улыбки, и томные вздохи, и все они казались ему веселыми, нарядными и влюбленными.

— Кавалеры стараются изрядно, но дамы уж слишком заглядываются на нас. Разве вы не находите такое поведение их не совсем приличным?

Высокий незнакомец в меховом картузе, неизвестно откуда взявшийся, стоял совсем рядом с Мишей, тоже пристально вглядываясь в окна, и говорил таким тоном, будто только одну минуту тому назад прервали они длинный разговор, который он и возобновил опять этим обращением.

— Вы думаете, они замечают нас? — спросил Миша, оборачиваясь к нему.

— Замечают ли они нас? Какая невинность! Для кого же, по вашему мнению, тогда все эти пышности? — воскликнул тот с веселым смехом, который чем-то не понравился Мише.

Несколько минут они помолчали. Незнакомец заговорил первый, вкрадчиво касаясь плеча Мишиного.

— Дорогой принц, я знаю, что не простой мальчишеский каприз ваши меланхолические

настроения, но неужели нет никаких средств против ваших печалей? Неужели я, в преданности которого, надеюсь, вы не сомневаетесь, не могу ничем помочь вам?

Миша прервал его весьма нетерпеливо:

— Прежде всего, сударь, вы, очевидно, введены в заблуждение, называя меня почему-то принцем, а во-вторых, позволю себе заметить, что никогда я не имел даже случая где-либо с вами встречаться, а не только давать вам право задавать вопросы, которые кажутся мне более чем странными.

И порывисто повернувшись, он намеревался покинуть неучтивого собеседника.

— Штраф, штраф, — воскликнул тот с такой простодушной веселостью, что Миша невольно остановился, заинтересованный его речью. — Я плачу штраф. Я нарушил ваше инкогнито. Я преступил мудрое правило не замечать чужого раздражения. Конечно, сударь, мы никогда не встречались с вами и даже самое имя ваше мне неизвестно, как и вам мое. Только поэтому я приплел случайно попавшийся на язык титул. Только поэтому. Но пустая обмолвка моя ведь не помешает же нам провести эту ночь вместе, так как ни я, ни вы, кажется, не имеем пока ни

малейшей охоты возвращаться в наши конуры.

И он вдруг засмеялся так пронзительно, что Миша опять сделал нетерпеливое движение, которое сразу успокоило странного шутника, и он продолжал, хотя и не без усмешки:

— Итак, мы проведем эту ночь, печально вздыхая о нашем бедственном положении. Мечтательно будем наблюдать с моста сквозь тусклые стекла чужое веселье. Там у дома еврейского банкира на набережной бедный поэт, прислонясь к столбу и заведя глаза к двум окнам второго этажа, еще раз со слезами поведает мне трогательную повесть о прекрасной Джессике и жестоком жиде. Не так ли?

— О каком жиде толкуете вы? — пробормотал Миша, достаточно спутанный и заинтересованный бессвязной болтовней, смысл которой совершенно ускользал от него.

— О, в прекрасную Джессику влюблены все бродячие, печальные поэты, как мы, с блаженной памяти времен господина Шекспира. Но я ничего не утверждаю. Может быть, таинственная испанка будет предметом сегодняшних импровизаций или даже вечно очаровательная Маркиза Помпадур, часто не дающая спать воображению некоторых молодых людей.

— Откуда вы знаете об этом? — крикнул Миша в гневном ужасе.

— Вот вы и выдали себя, мой друг, — дотрагиваясь до Мишиной шинели, засмеялся он. — Впрочем, тут нет ничего удивительного. Поэты любят мечтать о невозможном.

— О невозможном, — повторил Миша с глубоким вздохом.

— Но, дорогой принц, — заговорил незнакомец неожиданно серьезно. — Ведь именно невозможного хотели вы. Наш уговор был именно промечтать эту ночь о невозможном. Да замолчите же вы! Надоели. Тсс-с, — закричал он, замахав руками по направлению освещенных окон.

И вдруг, как будто по условленному знаку, все они разом погасли, и снег окутал тусклой своей пеленой танцующих, самый дом, набережную — все, что освещалось ярким огнем залы.

Миша, пораженный, молчал. Незнакомец продолжал свою речь ласково:

— Да и стоит ли желать чего-нибудь, кроме невозможного? Стоит ли даже терять время, чтобы сказать: «Я хочу возможного, земного, простого»? Нет, дорогой принц, это только роковая ошибка — ваша печаль, что не сойдет к вам пленительная купальщица, чтобы замкнуть

круг ограниченный и глухой и не оставить никаких просторов для ваших мечтаний. Госпожа Помпадур, вероятно, охотно бы исполнила все ваши желания, но ведь вы сами истребили ее, как только она попробовала воплотиться и выйти из своего фаянса. Впрочем, не буду вспоминать этого неприятного почему-то вам случая, — поспешил закончить он примирительно, чувствуя опять неудовольствие своего собеседника.

Миша упорно молчал. Незнакомец опять заговорил с воодушевлением, мало стесняясь этой неучтивостью.

— Вы даже не можете себе представить, какая бы скучная путаница произошла, если бы все наши мечтания сбылись. Благородная профессия поэтов была бы упразднена. Все пылкие, бледные от томности любовники соединились бы, и прекратились бы веселые ночи вздохов, печальных свиданий через окна, робких клятв, слез, серенад, переодеваний, погони, мрачных разлук, всего, что поют поэты и что, в сущности, только постоянная мечта о невозможном. Хмурьтесь, плачьте, дорогой принц, но не изменяйте нашим профессиональным обязанностям. Мы поэты — нам надлежит быть не слишком веселыми. Положим, последний совет для вас вполне бесполезен. Вы

добросовестны в этом отношении, как десять поэтов, которые готовятся излиться в элегиях, стансах или даже грянуть грозной балладой.

Но наконец даже у него истощился весь запас словоохотливости, и оба они замолчали — Миша безнадежно и обидчиво, незнакомец насмешливо и ожидающе.

Метель унималась, и только по временам, поднятые ветром, пролетали бесчисленными стройными рядами снежные искры, как мягкие волны, и опять успокаивались, спадая. Снег же падал медленными, тяжелыми, ровными хлопьями, и неясно выступали редкие фонари улиц.

— А вот и барон, — воскликнул незнакомец, уж давно беспокойно как будто кого-то поджидающий.

Действительно, в ту же минуту на мост вступил еще человек, роста ниже среднего, в цилиндре и модной шубе. Он не только вежливо поклонился Мише, сурово обратившемуся к нему на возглас, но даже попытался расшаркаться по бальному уставу и едва не упал, поскользнувшись, поддержанный первым незнакомцем, который весело представил его.

— Господин барон, прошу любить и жаловать. Большой филозóф, покровитель искусств и че-

ловек весьма рассудительный. Надеюсь, с его помощью мне удастся скорее убедить вас в вашем призвании довольствоваться благородной профессией печального поэта, мечтающего по целым ночам о прелестях разбитой маркизы, и не желать сделаться самодовольным шалопаем, услаждающим себя ограниченными и грубыми утехами с какой-нибудь девкой.

— Шут, — прервал его барон, впрочем, скорее все-таки одобряющим голосом.

— Ловлю вас на слове и напоминаю наше условие, — ответил тот, как бы задетый за живое, и весьма неуважительно хлопнул собеседника по цилиндру, надвинув его на самый баронский нос, на что его милость только весело рассмеялась, еще раз воскликнув:

— Шут.

— Мы еще поговорим с вами, любезнейший, — оборачиваясь опять к Мише, многозначительно оборвал незнакомец и с прежней живостью заговорил:

— Однако прежде чем начать веселую ночь печальных приключений, я думаю, не худо будет слегка подкрепиться. К тому же «Розовый Лебедь» не заставит нас делать особенного крюка. Ваше мнение, барон?

— Шут, — крикнул тот почти злобно, но, будто пропустив мимо ушей обижавшее его слово, незнакомец подхватил обоих собеседников под руки и потащил их, не прерывая болтовни, с моста в переулок, заваленный сугробами.

Глава четвертая, *в которой описано все, что случилось в «Розовом Лебеде», а также появление «Ночного Принца»*

В «Розовом Лебеде» было светло, тепло и достаточно оживленно, потому что хотя ставни и были уже закрыты, но посетители и не думали расходиться. Особенно шумно было в одном углу, где пировало несколько студентов, поснимавших мундиры и то и дело затягивавших латинскую песню, которую, слышную за два дома на улице, можно было принять за отдаленный вой волчьей стаи. Впрочем, когда наши путники приближались к ресторации, кроме студенческой песни оттуда несся еще невообразимый гам свалки, так как именно в эту минуту услужающие выводили, стараясь соблюсти вежливость, одного из забуянивших посетителей; два студента вступились

за него и вытащили из-под стола свои шпаги; другие унимали их и тянули свою песнь; хозяин, стараясь успокоить всех, кричал всех громче, а оркестр из гитары, двух скрипок, барабана и арфы играл вовсю.

Только что спустившись в погребок, незнакомец как-то сразу вмешался в скандал и через минуту прекратил шум. Только вытолкнутый пьяница кричал из сугроба за дверью:

— Погодите. Будет вам на орехи. Я тоже знаю кое-что про ваши фокусы, и подмигивающим валетом меня не удивишь. Выходите-ка сюда, господин Цилерих, выходите-ка.

Как будто придавая какое-то значение пьяной болтовне, незнакомец быстро взбежал по лестнице, постоял несколько секунд на улице, притворив за собой дверь, и больше уже ничто не нарушало благочиния, если не считать того, что оркестр по временам, по знаку хозяина яростно принимался разыгрывать польку из «Лонжюмоского Почталиона», а студенты затягивали свои куплеты, обрывая их второй строчкой.

При свете Миша впервые разглядел своих спутников.

Тот, который назывался бароном, оказался еще совсем молодым человеком, очень розовым,

очень упитанным и очень белокурым. Волоса его были тщательно расчесаны и завиты на височках. Одет он был изысканно, и из-под щегольской шубы, отороченной серым мехом, выглядывали шелковый с розами жилет, тонкие кружева, модные пуговицы и лорнетка слоновой кости.

Другой тоже был не стар, хотя и название молодого к нему не подходило. Насмешливый тонкий рот не по-стариковски свежим казался; глаза из-под тяжелых век блестели весело, но желтый, сливающийся с низкой лысиной лоб весь в морщинах, редкие волоса на височках, выкрашенные и полинявшие, узловатые руки — все это придавало ему вид старческого убожества. Скромная и поношенная, но опрятная одежда его ничего не говорила. На острой макушке имел он под картузом маленькую зеленого бархата ермолку.

— Так, — хлопнув ладонью о стол, начал он, усаживаясь. — Так, благородные господа. Наконец-то мы можем познакомиться поближе. Как вы находите, молодой человек, нашего барона? Да и вообще нашим обществом вы, кажется, не совсем довольны?

— Да нет. Право, нет, — при свете потеряв всю решительность своей грубости, возражал Миша. — Конечно, согласитесь сами, наше зна-

комство состоялось несколько неожиданно и странно. Но я очень рад, очень рад. Моя фамилия Трубников.

— Вы все еще упорствуете? Ну, пусть будет по-вашему.

— Как же вы хотели бы, чтобы я назывался? — робко возразил Миша, будто сам не совсем уверенный в своем имени.

— Ваше Высочество, — начал барон, изящно нагибаясь. — Я очень ценю вашу затею. Я восхищен, но Цилерих груб и материален. Он знает несколько штук уличного шарлатана и думает себя всемогущим. Доверьтесь мне. Я умею ценить тонкие чувства.

— Браво, браво, барон. Вы отличный дипломат, но ссориться со мной я вам не советую.

— Если вы не замолчите, я вышвырну вас, как последнюю собаку. Мои полномочия, — пронзительно закричал барон.

— Плевать я хотел на ваши полномочия. Моя находка, — прервал его старик и сделал хищное движение, как бы желая оттащить Мишу в свою сторону.

— Почтенные господа, потише. В моем заведении десять лет не было такого шума. Не ссорьтесь, ради Господа, — подкатился на возвышающиеся

голоса собеседников толстый запыхавшийся хозяин. — Дома разберете ваши ссоры. Пейте вино. Сейчас Степанида споет «Верныя приметы», наимоднейший романс. Не ссорьтесь, почтенные господа.

Музыканты потеснились на своем возвышении, и двое цыган, низко кланяясь и приветливо кивая знакомым, выбежали, звеня серебряными подковами. Цыган, немолодой, необычайной толщины, в белом с позументами кафтане, даже как будто не плясал, а так просто, стоя на месте, пошевеливал плечами, повертывал в руках шляпу, изредка причикивая и притоптывая одной ногой; выходило же прекрасно, ловко, живо, благородно.

Взвизгивая и руками всплескивая, начала Степанида:

«Ах, зачем, поручик,
Сидишь под арестом,
В горьком заключеньи
Колодник бесшпажный».

Цилерих казался живо заинтересованным. Он подпевал цыганке, хлопал рукой по столу в такт и только иногда взглядывал на Мишу, которому, нагибаясь через стол, барон шептал:

— Одно слово, Ваше Высочество, одно слово, и все будет исполнено. Не только высшею мудростью соединены мы, но и постоянною готовностью во всем, не щадя живота, помогать взалкавшему брату. Доверьтесь мне. Откройте ваши желанья.

Миша разглядывал белую с отточенными ногтями руку барона; на левом мизинце заметил он черный перстень.

— Вы и ваши друзья — массоны? — спросил он вместо ответа.

— Видимость, только видимость, — нагибаясь еще ниже от Цилериха, заговорил тот, — не все ли равно, «Петр к Истине», «Владимир к Порядку»? Все это только оболочка. «Ночного Принца» ищем мы, и находим, и служим. В исполнении воли его последняя истина. Избранный не должен противиться.

Лицо барона не менялось, розовое, в белокурых локонах.

Цыганка кончила, красной шалью размахивая, соскочила с возвышенья и обходила зрителей с тарелкой. Смеясь, она отбивалась, когда кто-нибудь из студентов старался слишком упорно задержать ее, схватив за талию. Подойдя на знаки Цилериха к столу, она заговорила, улыбкой

показывая белые зубы:

— Щедрый барин, счастливый. Дай ручку, погадаю.

Миша тупо и пристально смотрел на женщину. Из-под платка выбились черные косы. Смуглое лицо с накрашенными губами наклонилось к нему.

— Что смотришь, красавчик, ручку пожалуй — всю правду скажу.

— Робок он у нас, — засмеялся Цилерих.

— Молодой барин, пригоженький, чего бояться меня, не съем, угости — погадаю, — не унималась цыганка. — Сесть рядом позволишь?

— Пожалуйста, пожалуйста, — заторопился Миша, сконфуженно отодвигаясь к барону, который с брезгливой гримасой смотрел на приставанье, очень радовавшее старика.

— Не утесню тебя, не утесню, — улыбалась Степанида и, сев совсем рядом, обняла Мишу, прижала одной рукой его голову к своей, другой взяла Мишину руку и, раскачиваясь, начала обычные предсказательные приговоры:

— Счастливый будешь, сахарный мой, меня любить будешь, а уж я-то тебя буду на пуху носить.

— Комедианты, — услышал Миша баронов голос. Жарко ему было и стыдно; чувствовал,

что смешно было бы отбиваться от пригожей цыганки.

— Ай-да Степанида, — слышалось в зале, и множество народа с кружками и трубками собралось около их стола; пересмеиваясь, слушали гаданье, на которое скупа считалась Степанида.

— А еще скажу тебе, голубь мой, последнее слово, — кончила она и надавила вдруг мизинцем кончик носа Мише. — Не двоится; знаешь, что значит? — шепотом, нагнувшись, сказала на ухо. — Любови не знаешь еще, а сильно думаешь и ночью, и днем.

Сделав вид, будто еще что-то шепчет, губами дотронулась пониже уха.

— Оставьте меня, — странную новую решимость чувствуя, поднялся Миша.

— Принц, — воскликнул барон встревоженным голосом. — Смотрите, смотрите. — Миша повернулся и в небольшом овальном зеркале увидел в короне и далматике, как рисуют Императора Павла, с пылающим строгим лицом юношу, почти мальчика. В первую минуту он не узнал чудесно изменившихся черт своего лица. Узнав же, почти потерял сознание и, отвернувшись от зеркала, пошатнулся на руки подоспевших барона и Цилериха.

Глава пятая,
в которой описано коронование Миши Трубникова и все, что этому предшествовало

Очнулся Миша в сугробе. Он лежал, побледневший, с закрытыми глазами, как убитый, на меху шубы, совсем маленьким мальчиком. Барон растирал ему виски снегом. В переулке было тихо и звездно. Шум и духота ресторации казались приснившимися.

— Ну вот, ну вот, и все прошло, — проговорил барон ласково и просто. Цилериха же не было.

Миша встал. Слабость и пустоту чувствовал он, будто после угара. Очень хотелось спать и есть.

Барон взял его под руку. Медленно они шли по переулку с темными окнами и едва протоптанной тропинкой между сугробов.

— Не привык я, — сказал Миша, как бы извиняясь. — Простите, что утрудил вас. Куда же мы пойдем?

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я думаю, вам хорошо бы передохнуть и погреться. Трактиры все уж закрыты. Вот разве согласитесь зайти к

другу моему. Его дом сейчас за углом. Там не спят всю ночь, а мешать нам не будут. Можно расположиться, как дома.

— Хорошо, — согласился Миша, испытывая сладкую безвольность.

В дом вошли, не стуча, так как дверь барон открыл своим ключом. Слуга спал в передней на шубах. Синие свечи горели в низких подсвечниках, и ладаном навстречу входящим пахнуло.

Проведя Мишу коридором, барон ввел его в большую комнату, видимо, библиотеку, сплошь заставленную шкапами. В глубине стоял маленький стол со свечой, накрытый на две персоны; в камине пылали дрова.

— Видите, нас ждали, — промолвил барон, жестом приглашая сесть в кресло у стола.

Острые, незнакомые на вкус блюда быстро подавались и убирались бесшумно входящим и снова уходящим слугой.

Лицо Мишино горело от вина и близкого огня камина. Барон оставался простым и милым собеседником, ни одним жестом, ни одним словом не напоминавшим тех странных и страшных минут. В разговоре старался он не обращаться к Мише, чтобы никак его не называть. Говорили о предметах посторонних. Миша с непривычным

оживлением рассказывал о лицейских проделках. Барон слушал, улыбаясь и мешая догоравшие поленья в камине.

— Ну, а как же, однако, мы решим, — сказал вдруг барон, не изменяя тона, но так, что Миша понял, о чем он спрашивает, и все-таки трусливо переспросил:

— Что вы хотите решать?

— Три святых амулета. Красный рубин — любовь, зеленый изумруд — власть высокая, мутный опал — мудрость. Выбирать час пришел, Ваше Высочество, выбирать.

— Хорошо, — тихо и задумчиво ответил Миша, не удивляясь и глядя на пламенные цветы угля, — хорошо. Рубин, изумруд, опал, — и еще тише добавил: — Рубин.

Барон встал, Миша тоже поднялся.

— Я готов, Ваше Высочество. Не угодно ли вам будет за мной последовать.

Он отпер незаметную, под цвет стены окрашенную дверь между двух шкапов. Зала открывалась перед ними. Два старика, беседуя на диване в углу, не обратили на вошедших никакого внимания. Все люстры и канделябры блестели, зажженные и отраженные в зеркалах.

— Сию минуту, Ваше Высочество, — шепнул

барон и, плавно скользя по паркету, быстро удалился, оставив Мишу посередине ярко освещенной пустой залы с колоннами и розовыми амурами по стенам. Миша не знал, что делать ему. Он оглянулся на стариков; те по-прежнему шепотом говорили, кивая друг другу седыми напомаженными головами.

Через минуту шум быстрых шагов донесся из соседней комнаты. Дверь распахнулась. Прямо на Мишу вышла высокая, несколько полная дама под руку со стариком. За ними следовало много гостей.

— Милый принц, вот и вы пожаловали к нам. Я так счастлива, — говорила дама, смотря на Мишу. — Я очень счастлива.

Опуская смущенно глаза, Миша все-таки успел невольно как-то рассмотреть улыбающиеся губы и локоны высокой прически.

— Что же вы молчите, Ваше Высочество, — услышал Миша голос, напомнивший ему Цилериха. Гости обступили его тесным кругом.

— Вы даже не хотите поздороваться со мной.

— Сударыня, — сказал Миша, багровея. — Сударыня, — и, нагнувшись, он поцеловал протянутую руку, не поднимая глаз на говорившую.

Хорошо запомнил Миша в беглом взгляде

нежные, прекрасные руки, которые дама обе протянула ему навстречу, прикоснувшись же губами к руке, ощутил он дряблую холодную кожу, наполнившую его нестерпимым отвращением.

Подняв глаза, увидел Миша стоящим перед собой Цилериха в зеленой ермолке. Его руку держал, только что поцеловав; дама же в смущении отступила.

Миша так и остался, не опуская руки Цилериха, а тот улыбался ехидно:

— Ошибочка вышла, Ваше Высочество.

Все заговорили, стараясь замять неприятный случай, и дама, опять ласково взяв Мишу под руку, прошла в другие комнаты, показывая его всем и говоря:

— Какой прекрасный у нас принц.

Но Миша не мог забыть и успокоиться; гадко было ему, и голова кружилась, и хотелось бежать, но нельзя было.

Комнаты большие и маленькие, залы, гостиные, диванные, все были освещены, как для праздника, но музыка не играла, громко говорили только там, где были дама и Миша, а в соседних покоях стояло молчание, так что странно было даже, открыв двери, находить полную комнату гостей. Тревога овладевала Мишей, хотя ничто не

предвещало опасности; дама ласково пожимала его локоть; все гости учтиво кланялись и старались при приближении принца принять вид веселости. Раза два в толпе мелькало лицо Цилериха. Мише хотелось ему что-нибудь крикнуть, броситься на него, но, как бы угадывая это намерение, тот быстро скрывался. Барон тоже изредка попадался и улыбкой старался ободрить Мишу. Дама редко обращалась со словами к Мише, что позволяло оставаться и ему молчаливым.

— Разве вам не нравится наш праздник, на котором вы повелитель? — спросила она. — Все желанья, все желанья должны свершиться сегодня. Скажите, чего вы хотите?

— Я хочу уйти отсюда, — сказал Миша вяло.

— Но почему? Но почему? — заволновалась дама, пожимая Мишин локоть все сильнее. — Что случилось? Что отталкивает вас? Вы не хотите празднества, — будет тишина и молитвы. Вы хотите?

— Я хочу уйти отсюда, — не делая никакого движения, повторил Миша.

— Это невозможно, — сказала дама и с тем же нежным видом повела Мишу дальше, повторяя всем уже не в первый раз: — Какой прекрасный у нас принц сегодня!

Гости кланялись и улыбались, приветствуя, как привычные придворные, принца, который шел среди них с лицом гордым и печальным.

Наконец дама сказала громко:

— Почему же музыка не играет и никто не танцует?

Будто услышав условленный пароль, все стали выходить из залы в коридор, мужчины в одну сторону, дамы — в другую. Барон подошел и, взяв Мишу под руку, увел его от дамы. Когда они проходили коридором, Миша сказал:

— Я хочу уйти отсюда.

— Одну минуту, Ваше Высочество, — ответил тот.

В маленькой комнате перед зеркалом лежали корона, мантия и цепь из драгоценных камней. Барон возложил их на Мишу.

— Теперь все исполнилось. Вы коронованы. Нет запретов перед вами.

Миша чувствовал, что теряет сознание. Ему хотелось посмотреться в зеркало, чтобы еще раз увидеть того пылающего и прекрасного отрока в далматике, но вдруг как бы холодный ветер вернул ему силу желания, и он твердо сказал:

— Я узнал теперь все. И сейчас я уйду один. Так нужно и так будет.

Барон несколько удивленно посмотрел на Мишу, как бы не узнавая его, но покорно поклонился и бросился подбирать мантию, которую Миша небрежно сбросил к ногам.

Миша вышел в переднюю. Слуга проснулся.

— Уходите, сударь? — спросил он и нашел Мишину шинель среди вороха других военных, штатских и дамских шуб.

Глава шестая, *в которой описано последнее приключение этой ночи*

Так расставшись со спутниками, Миша медленно стал подыматься по улице. Костер, у которого недавно занимал своими шутками все общество господин Цилерих, потух. Будочник, напугавший Мишу, спал на тумбе, опять похожий на медведя.

Карета, скрипя по снегу, перегнала Мишу и остановилась у подъезда.

Замедлив шаги, он ясно различил, как из нее вышла дама в синей шубке. Он узнал серый ток и лакея, толкнувшего его в сенях театра. Поразительней всех событий сегодняшней ночи показалась Мише эта встреча. Прислонившись

к стене, переждал он, когда карета отъедет, и подошел к крыльцу. Света в круглом окошке привратника не было. Снег так замел дверь, что Миша уже сомневался, эту ли он видел открытой минуту назад.

— Твое дело, поганый, — пробормотал он, плюнув с досадой, и намеревался идти, как в сугробе увидел желтую розу, какие были в волосах дамы. Миша поднял цветок и, боясь передумать, быстро поднялся на ступеньки и громко постучал в дверь.

— «Ночному Принцу нет преград», — вспомнил он слова Цилериха, замирая.

Высокий молодой слуга открыл дверь тотчас же, как будто ожидая посетителя. Заслонив ладонью свет, несколько секунд рассматривал Трубникова. Сказав: «Бождите», — поставил подсвечник на пол и ушел по темной лестнице, широко шагая через ступени.

Страх почти до обморока почувствовал Миша в просторных сырых сенях, освещенных оплывавшей свечой.

«Бежать, бежать», — было его мыслью, но дверь оказалась уже замкнутой. Как пленник покорился он своей участи и сел на скамью, опуская голову к коленям.

— Пожалуйте. — Слуга, освещая путь, стоял перед ним.

Проходя, Миша заметил много дверей и за одной расслышал голоса. Один мужской:

— Луиза, Луиза.

Другой женский:

— Неправда, я не могу больше.

— Не угодно ли будет вам раздеться, сударь, — спросил слуга, ставя свечу на стол с остатками ужина в комнате большой и почти свободной от мебели.

Миша сбросил шинель на ручку стула; слуга стряхнул снег концом ливреи с сапог.

Арапка в красном нескромном платье вышла из-за занавеси, отделявшей соседнюю комнату, и произнесла что-то хрипло и весело. Слуга засмеялся, но, сдержавшись, сказал:

— Ихняя камеристка. Она вас и проведет. Тоже выдумает всегда, — и, прыснув еще раз, быстро ушел, унеся свет.

В темноте Арапка подошла к Мише, шатаясь, как пьяная, и сказала нечеловеческим голосом попугая:

— Ти милий. — Засмеялась, взяла за руку и повела, что-то бормоча. Запах от нее, смешанный с запахом вина и сладкой смолы, кружил голову.

За узкой низкой дверью оказалась неожиданно большая комната, тоже пустая. Огромная кровать стояла посередине. На возвышенье пышный туалет с глубоким креслом освещался двумя свечами в серебряных шандалах. Первую минуту покой показался Мише пустым. Не сразу разглядел он в зеркале туалета отраженную женщину. Она сидела глубоко в кресле, беспомощно опустив до пола руки в кольцах. Не двигаясь, не открывая глаз, подведенных тонко голубой краской, дама спросила на непонятном языке. Служанка ответила хриплым лаем и, недовольная, вышла.

Ощипывая желтую розу, Миша стоял, опустив голову, но его смущение было непритворным только наполовину.

Наконец дама встала и заговорила. Ласковы и печальны были слова того же незнакомого, сладкого, протяжного языка. Слабый знак руки понял Миша за позволение приблизиться. Подошел и встал коленями на ступеньки возвышения. Сделалось легко, торжественно и любопытно.

Казалось, что понимал медленную речь. Казалось, она говорила:

— Это хорошо, что вы пришли ко мне. Я жду вас давно. Вы будете любить меня.

— Да, да, я буду любить вас, — отвечал, улыба-

ясь, сам не зная, от какой радости.

Она тоже улыбнулась, и уже не пугала ее улыбка Мишу. Легко складывались его слова. Он говорил:

— Всю ночь я искал вас. Да не одну ночь. Давно знал я вас. Знали ли вы?

— Знала, милый, — продолжала она разговор, различно понимаемый, быть может, каждым.

Ничто больше не смущало Мишу, и не удивлялся он пустой комнате в странном доме, даме в розовом с цветочками капоте, стройной и томной, склоняющейся к нему с амвона, своим собственным речам, свободным и нежным.

Не прерывая ласковых слов, дама продолжала свой туалет: сняла кольца, распустив прическу, спрятала волосы под круглый чепчик с широким бантом; бегло, но пристально оглядела себя в зеркало, спрыснула руки и платье духами и, потушив одну свечу, высоко держа в руке другую, прошла по комнате. Сев на постель, снимала лиловые чулки, нежно что-то приговаривая.

Некоторое несоответствие слов и улыбки дамы с ее действиями поставило Мишу в тупик, и он не знал, что отвечать ей. Она же, видя его нерешительность, побежала к нему, села, поджимая голые ноги, рядом на ступеньки, обняла

одной рукой за шею и ласково уговаривала; расстегнула пуговицы жесткого его мундира и, засунув пальцы за ворот Мишиной сорочки, смеялась невинно и коротко. Смутился Миша неожиданной шалости печальной дамы, но темные, тяжелые мечтания последних дней даже не вспоминались.

— Я щекотки не боюсь, — тряхнув головой по-мальчишески, сказал он.

Веселость, буйная и небывалая, охватила Трубникова, который и мальчиком-то был всегда скромен и тих.

Странные игры начались в пустой комнате. Бегали друг за другом, боролись, толкались, смеялись, как расшалившиеся дети.

Запыхавшись, дама упала на кровать. С блестящими глазами наклонился Миша над ней. Со смехом привлекала она его к себе, и он со смехом в первый раз осмелился поцеловать ее.

Арапка, тихо войдя, потушила нагоревшую свечу.

Глава седьмая,

в которой описано все, что произошло утром, следующим за ночью

Миша проснулся поздно. Солнце на красных ширмах горело пламенными пятнами. Открыв глаза, Миша вскочил, как под ударом. Босиком, в ночной рубахе бросился на середину спальни, сам не зная для чего. Знакомое запустение знакомых комнат; солнце прямо в окно, блестевшее снежными крышами напротив; тишина; большая дядина кровать, с которой он только что встал; разбросанные вещи его собственные — все казалось необычайным.

С досадным страхом не мог вспомнить Миша, где сонные видения разделялись с событиями действительными. В большом зеркале увидев свое собственное испуганное и бледное лицо со спутавшимися волосами, не узнал он себя. Вошедший Кузьма заставил его принять вид спокойствия. С непривычной медлительностью одевался Миша.

Кузьма, растапливая печку, начинал почтительную свою воркотню:

— От князя вчерась и сегодня опять присылали. Велели сказать, что ждут ответа. Что сказать прикажете? Поздно вчера пожаловать изволили.

— Да замолчи же, старый хрыч. Пошел вон. Чтоб духу твоего не было, — сам не узнавая своего звонкого голоса, сам удивляясь и радуясь своему гневу, крикнул Миша, будто хлыстом ударили его по лицу. Отвернувшись к зеркалу, на минуту увидел он желтую парчу и почти незнакомые черты тонкого, пылающего лица, как короной увенчанного сиянием. Одну минуту продолжалось смутное, вчерашний вечер сладко напоминавшее видение.

— Что же это, Господи? Что же это? — бормотал он, задыхаясь восторгом и ужасом опять, как вчера.

Но комната в солнце, неубранная кровать, Кузьма с разинутым ртом на корточках перед печкой — все это привело его в себя.

С колебанием взглянув в зеркало, увидел он себя обычным, слегка разрумянившимся, смущенно улыбающимся, в высоком воротничке, в желтых с цветочками подтяжках. Сдерживая дрожь гнева и внезапного восторга, Миша старательнее, чем всегда, причесался. По-новому строго сказал Кузьме:

— Подавайте завтрак. И чтоб порядок был у меня, а не то я сегодня же дяденьке напишу.

Удивленный Кузьма прислуживал быстро и

почтительно.

Чувствуя себя стройным и как-то особенно красивым, окончательно оправился Миша перед зеркалом, принял от слуги чистый платок и перчатки и веселым, преувеличенно замедленным шагом прошел в переднюю по ярко освещенным комнатам, ликующе блестевшим празднично вычищенными полами.

Быстро шел Трубников вдоль канала, радуясь не только морозному солнцу, зимнему небу, солдатам, с музыкой возвращавшимся по Гороховой с парада, но и еще чему-то смутному и слегка страшному, тайному и торжественному. Милостиво улыбался он встречным, и казалось ему, все думали и даже говорили про него: «Какой прекрасный молодой человек. Кто бы он был?» — Уже почти у самого Невского Миша остановился на углу против моста. Всю улицу занимали возы, загораживая проход.

Пережидая их, Миша поднял глаза и вдруг узнал перекресток, на котором встретил он вчера господина Цилериха. И статуи на мосту, и покосившиеся тумбы, и тысяча других мелочей вдруг напомнили ему вчерашнее. Не без волнения отыскивал Миша дом, в освещенных окнах которого видел он вчера бал, послуживший как

бы началом чудесных приключений прошедшей ночи.

— Эй, берегись, барчук, — крикнул на зазевавшегося возчик, и Миша, сторонясь лошади, вбежал на высокий мост. Напротив стоял длинный облупленный дом, выкрашенный когда-то в зеленую краску, но теперь посеревший. Оборванные ставни, сломанная водосточная труба, грязный вход придавали ему вид неопрятный. Подойдя ближе, рассмотрел Миша широкую белую доску с надписью:

«Гамбургская ресторация для почтенных посетителей, освобождается зало под свадьбы, обеды и семейные вечера по вольной цене».

— Какие глупости, — воскликнул Миша, прочитав. — Какие глупости, — и засмеялся так громко, что встречные останавливались и глядели ему вслед.

Нанимая извозчика, все еще не мог удержаться Миша от смеха, еле выговаривая:

— На Литейный.

— Веселый барин, — ухмыльнулся кучер, застегивая полость.

От быстрой езды и мороза у Миши дух захватило. Мелькнули на Невском кареты, офицеры в санках. У Френделя Пахотин окликнул его, но

он только рукой махнул, зажимая рукавом лицо от смеха и холода. Весело и вольно было так скакать по рыхлому снегу. Все мысли, тяжелые и мрачные, куда-то уплыли. Всю дорогу без причины радовался и улыбался сам себе Трубников и думал только: «Хороший извозчик попался, надо полтину ему дать».

У темно-голубого дома на Литейном, в который с самого детства входил он с чувствами противоречивыми и всегда взволнованный, весело и легкомысленно выскочил Миша из саней и вбежал, бросив шинель швейцару, на площадку второго этажа. Лакей поднялся со стула и как-то почтительнее, чем всегда, выговорил:

— С праздником, Михаил Иванович.

Получивши же неожиданный рубль на чай, совсем удивленным голосом, выпрямившись в струнку, доложил:

— Его Сиятельство ждут вас и просили обождать в гостиных. Княжна-с там.

Равнодушно и быстро вошел он в белую с золотом залу. Холодный порядок стульев, тщательно расставленных вдоль стен, задернутых чехлами люстр, венецианских зеркал в простенках нарушен был богато разукрашенной елкой посередине. Ее сладким и ободряюще праздничным

ароматом была наполнена комната.

По далекому ряду комнат шла к Мише навстречу Наденька. Без тени былого смущения ответил он на ее задорную улыбку улыбкой и так сжал ее руку, целуя, что княжна на минуту потупилась, удивленная и даже смущенная.

— Где вы пропадали, кузен? — слегка грассируя, спросила она. — Мы были так обеспокоены вашим припадком.

— Да, да, теперь все это прошло.

— Что прошло? Что было? Не томите, Мишенька? — вспыхнув от любопытства, воскликнула княжна.

Миша с улыбкой рассматривал вздрагивающую мушку, обозначающую «согласие», на румяной щеке и чувствовал, что больше никакими улыбками, никакими неуместными словами его не смутить.

Глядя на розовое личико, задорное и любопытное под легкой прической à la grecque, на праздничное, зеленое с лентами цвета заглушённой жалобы платье, открывавшее локотки, делалось ему еще веселее и свободнее перед этой девочкой, недавней насмешницей, недавним предметом тайных вздохов.

— Странные встречи бывают, кузиночка. Я могу

позабавить вас удивительной сказкой в стиле, столь любимом вами, — полушутя и намекая с подавляемой гордостью, что многое должен он пропустить, начал рассказывать Миша у большого окна, в котором виднелся на зимнем, пылающе закатном небе тонкий розовый месяц.

— Ах, как это хорошо, — вздыхала княжна, увлеченная.

— Да, забавный случай, но я не очень-то поддался их штукам.

— И вот вы принц. Это правда. Сегодня, как только вы вошли, я заметила, что вы изменились.

— Но ведь принц одной только ночи, — насмешливостью скрывая свое волнение, возразил Миша.

— Нет, теперь навсегда для меня вы принц. Я завидую вам, Мишенька, — шепотом кончила она, робкая и восхищенная.

— Но ведь вы знаете, что сделаться принцессой — ваша власть, — наклоняясь, тоже шепотом ответил Миша и с небывалой, самого его испугавшей смелостью он поцеловал княжну в розовую щеку.

Князь Григорий, из каких-то сложных расчетов давно желавший подобного оборота дела, помед-

лил в соседней гостиной и, кашлянув, вышел в залу, возможную ласковость придав лицу.

— Я очень рад, очень рад, — начал он, растроганно обнимая Мишу.

Эпилог, *в котором все невзгоды и чудесные приключения Миши Трубникова являются только смутными воспоминаниями*

В праздничные и именинные дни, когда князь Григорий приказывал сервировать стол голубым фаянсом, рыбную тарелку, с много от склейки пострадавшей госпожой Помпадур, дворецкий всякий раз зорко наблюдал, чтобы ставили никому другому, как сидевшей на самом краю Эмилии Васильевне, бывшей бонне княжны, особе, по положению самой низкой из допускаемых к княжескому столу.

Миша же надежды князя не оправдал и на княжне не женился, что вызвало большой скандал и служило пищей светскому злоречию не менее двух недель.

Получив наследство, которого для него ожидал

только князь Григорий, Трубников вышел в гвардию, лицея не кончив. Томный вид застенчивого мальчика нашел он нужным не оставить и в офицерском мундире, хотя общая молва указывает на него как на затейника многих отчаянных и нескромных шалостей. Решительным ударом в атаке на благосклонных к нему дам, хвастаясь товарищам, называл он трогательный рассказ о посвящении его господином Цилерихом в ночные принцы.

Ноябрь, 1908 г.

С.-Петербург.

Ставка князя Матвея
I

— Это вы, князь, напрасно изволили ко мне обращаться. Потворщиком шалостей ваших никогда не состоял и впредь, прошу точно запомнить, состоять не намерен. Нарекания и замечания выслушивать за недостойное и неприличное — да, милостивый государь ваше сиятельство, — неприличное поведение ваше не согласен. Первый буду ходатайствовать о применении строжайших мер к обузданию вашему. Только этим могу оказать вам родственную услугу и исполнить свой долг перед покойной вашей матушкой, поручившей мне тяжелые заботы о вас. В остальном же не извольте питать никаких надежд. Достаточно было снисходительности.

Князь Евтихий Александрович, уже одетый к выезду, в придворном мундире, язвительно расшаркивался перед своим племянником князем Матвеем, брызгал слюною, захлебывался, стучал маленьким кулачком по столу и был доволен собою, думая, что похож на безжалостного героя трагедии.

— В каторгу когда вас будут посылать, — чему не удивлюсь, — пальцем не пошевельну, милостивый государь, — задыхаясь, взвизгивал князь Евтихий.

С тупым равнодушием выслушивал князь Матвей гневные дядины речи.

Все было знакомо до тоски ему — и этот большой, с холодной роскошью убранный кабинет, и визгливый голос князя Евтихия, и его коричневый, сбившийся немного набок парик, и купидон на бронзовых часах, посылающий стрелу, и замысловатый бой курантов, и широкая площадь, видная в окно, затуманенное тоскливым осенним дождем.

После вчерашней попойки болела голова, было непереносимо скучно стоять у дверей и ждать, пока пройдет припадок ярости у князя Евтихия и он, в тысячный раз повторив опостылевшие упреки, успокоится, подойдет к конторке, достанет деньги, кинет их на стол и скажет брезгливо:

— Ступай. В последний раз это делаю. Не для тебя, а для спасения чести рода Поваринных, среди которых не числилось до сей поры бесчестных мотов и безобразников.

Долее обычного продолжал сегодня злобствовать князь Евтихий.

Уже куранты проиграли и четверть, и половину одиннадцатого, и княжий камердинер несколько раз выглядывал из-за двери, чтобы доложить, что карета подана, а Евтихий Александрович бегал по кабинету, делал выразительные паузы и опять принимался стучать кулачком по столу и выкрикивать язвительные слова.

Казалось князю Матвею, что конца этому не будет, и несколько раз нетерпеливо крутил он черный ус и подергивал плечами, совсем уже готовый какой-нибудь безобразной дерзостью окончить эту становившуюся нестерпимо скучной сцену.

Но вдруг тяжело бухнула пушка с крепости, и Евтихий Александрович, оборвав свою речь на полуслове, испуганно забеспокоился.

— Ужели уж полдень? Во дворец опоздал…

Сторoживший у дверей камердинер решил вмешаться.

— Никак нет, ваше сиятельство. Должно, по причине наводнения стреляют, с вечера еще вода прибывала; сказывают, в гавани изрядно подмокли. А время, ваше сиятельство, без четверти одиннадцать будет скоро.

— Пора, пора! — заторопился князь Евтихий. — Скорей шинель да шляпу и бумаги в карету снеси.

Завтракаю сегодня во дворце, — горделиво закинув голову, добавил он и уже в дверях бросил племяннику:

— К тетке ступай. Она даст. Но, честью клянусь, в последний это раз.

Камердинер накинул на плечи князя бархатную шинель, подал красный шелковый шарф окутать горло и, схватив тяжелый княжеский портфель, побежал за князем Евтихием, который не бежал, а несся к выходу.

Князь Матвей, тупым взглядом проводив дядю, подошел для чего-то к окну и долго без мыслей смотрел на унылую, в огромных лужах площадь, серое безнадежное небо, едва выступавший в тумане памятник, на канцеляриста в раздуваемой ветром шинели, осторожно пробирающегося по камешкам через непролазную грязь. Скука и беспричинная тоска давили князя Матвея; он даже не вспоминал ни унизительной воркотни дяди, ни грозящего большими затруднениями скандала, героем которого вчера он сделался, ни огромного проигрыша, ни предстоящего разговора с теткой, ни всех прочих неудач и неприятностей.

Он не думал ни о чем, и туманная, беспросветная слякоть, царившая за окном, окутывала его

чем-то слизким, противным до тошноты и тоскливым.

— Вот вы где, а я вас жду, — раздался за спиной князя Матвея жеманный голос.

Он обернулся.

Кокетливо улыбаясь, в прелестном утреннем туалете, но уже тщательно причесанная, с мушкой на правой щеке стояла перед ним тетушка его, княгиня Анна Семеновна.

Будучи лет на сорок моложе своего мужа, считалась Анна Семеновна одной из первых петербургских красавиц, но сейчас князю Матвею показались противными и приторно-сладкая улыбка ее тонких злых губ, и ее жеманный голос, и подозрительная белизна полных, намеренно едва прикрытых тонким шарфом грудей, и вся она, сделанная будто из марципана и обсыпанная сахаром.

Он едва коснулся кончиками усов ее холеной, в дорогих кольцах ручки и на нежное пожатие ответил тем, что вырвал свою руку.

Княгиня улыбнулась только на эту грубость, чуть-чуть приподняв крашеные брови, и промолвила по-французски ласково, но не без насмешки:

— Вы в очень плохом настроении, мой друг. Но

пройдемте ко мне, там мы поговорим, и я надеюсь, вы успокоитесь, бедный мой мальчик.

Она повелительно взяла под руку князя Матвея, и они молча прошли по ряду гостиных и угрюмому двухсветному залу на княгинину половину, где комнаты были меньше, обставленные причудливой мягкой мебелью, где топились печки и зеленый попугай в золоченой клетке, картавя, кричал:

— Здравствуй, здравствуй, здравствуй!

Анна Семеновна усадила князя Матвея на низкую, обитую зеленым атласом с разводами оттоманку, села сама рядом с ним и, задержав ручку на рукаве его мундира, спросила уже гораздо более искренним и заботливым голосом:

— Что случилось с вами? Опять проказы, шалости? Не бойтесь искренности со мной. Вы знаете, я всегда готова помочь вам, и не упреки услышите вы от меня, а слова, продиктованные преданной нежностью.

Она томно взглянула на князя, помолчала минуту и со словами:

— Ах, ты не знаешь, не хочешь знать, что ты для меня, — ловким, кошачьим движением обняла его за шею, нагнула голову и жадно стала целовать.

Князь угрюмо отстранил ее и встал.

— Не надо! — почти крикнул он грубо.

— Вот как! — притворно засмеялась Анна Семеновна и тоже встала, бегло взглянула в зеркало, поправила прическу и с холодным пренебрежением промолвила:

— Князь просил меня передать вам тысячу. Можете получить.

— Как тысячу! — воскликнул с вдруг прорвавшимся бешенством князь Матвей. — Как тысячу, когда я должен уплатить сегодня одиннадцать!

— Я не знаю ваших расчетов, дорогой племянник, — язвительно, любуясь его бешенством, ответила Анна Семеновна.

Узкие калмыцкие глаза князя Матвея Поварина стали круглыми. Он резко повернулся и прошелся по комнате, уронив на ходу маленькое креслице.

Княгиня не выдержала. Протянув руки к нему, она заговорила горячо:

— Как ты меня мучаешь. Столько оскорблений — за что? За то ли, что люблю тебя безрассудно, ставя на карту честь свою, положение, репутацию…

— Очень мне нужно! — закричал князь Матвей. — Ты мерзее мне последней трактирной девки. И нет таких денег, которые заставили бы

меня еще хоть один раз…

— Тише, князь, — прервала его Анна Семеновна, побледнев до синевы, чего не могли скрыть и румяна. — Помните, что вы в моей власти. Только открыть мне этот ящичек и вынуть ваши бумажки, и завтра же князя Поварина не существует!

При этих ее словах ярость князя Матвея дошла до последнего предела.

— Молчи! — крикнул он и прибавил словечко, вряд ли когда-либо произносимое в этих надушенных сладкой вербеной комнатах. — Молчи! — И, сделав шаг в ее сторону, он грубо толкнул княгиню в нежное, наполовину кокетливо обнаженное плечико.

Княгиня ахнула более от неожиданности, чем от боли, и повалилась на оттоманку.

Впрочем, почти сейчас же она пришла в себя и, когда князь Матвей крупными шагами удалялся, успела крикнуть каким-то не своим голосом:

— Если через три дня…

Дальше князь Матвей не расслышал, хорошо, однако, поняв значение слов ее.

Только попав на улицу, под пронизывающий холодный дождь, пришел в себя князь Матвей.

Закутавшись плотнее в плащ, он зашагал к Невскому, не разбирая луж и грязи.

II

В задней комнате ресторации Френделя несколько офицеров, поснимав мундиры, играли на биллиарде.

Весело щелкали шары. Задорным голосом выкрикивал счет молодцеватый маркер. На соседнем столике синий огонь лизал края пуншевой чаши. Наблюдающие за игрой курили трубки и громко спорили о достоинствах удара.

Не обращая внимания на весь этот шум, молоденький поручик Неводов, белокурый, с розовыми щеками и едва пробивающимися усиками, сидя на подоконнике спиной к свету, внимательно читал книгу, держа ее почти у самых глаз.

Изредка он досадливо морщился, когда разговор игроков становился слишком шумен, оглядывал их недовольным, рассеянным взглядом, перелистывал страницу и опять погружался в чтение.

— Ну и погода чертовская, — ворчал князь Матвей, входя в комнату и сбрасывая на руки лакея промокший плащ.

— А, Поварин! Что ты вчера натворил? Весь город говорит! — послышались восклицания, и

на минуту игра прекратилась, так как все с любопытством окружили князя Матвея, расспрашивая и тормоша его.

— Глупости! — угрюмо промолвил Поварин. — Охота вам, как бабам, языки трепать. Глупая сплетня, ничего более. Выпить бы лучше дали, чтоб согреться.

— Оставьте князеньку. Не выспался он, букой смотрит, — засмеялся красивый гвардеец Сашка Пухтояров и пригласил игроков к биллиарду.

Мало-помалу все оставили князя Матвея, и со стаканом горячего пунша он мрачно уселся в стороне.

Неводов, оторвавшись от своей книги, увидел Поварина и, соскочив с подоконника, подошел к нему.

— Здравствуйте, князь, — робко покраснев, произнес он и стал почти в упор разглядывать Поварина своими близорукими, пристальными глазами.

Юному застенчивому поручику казался князь Матвей мрачным и таинственным героем излюбленных его романтических поэм в духе лорда Байрона. Поймав на себе удивленный, почти восхищенный взгляд поручика, Поварин криво усмехнулся своей тяжелой и похожей на гримасу

улыбкой и указал Неводову сесть рядом.

— А вы за книгами, мой молодой друг, — произнес он с покровительственной насмешливостью. — Что изволите изучать ныне?

Сделавшись совсем алым от радостного смущения, Неводов молча показал заглавный лист запрещенного строгостями цензуры в России томика Шиллера на немецком языке.

Рассеянно перелистав книгу, князь Матвей вернул ее с видом разочарованным.

— Много сочинители пишут, да толку мало. От писания их никому лучше не станется, — промолвил он тоном знатока.

Волнуясь и запинаясь, заговорил Неводов:

— Не совсем могу согласиться с вами, князь. Многие любопытные мысли не пришли бы нам в голову без чтения, а мысли переходят в действие, таким образом, вряд ли нельзя не признавать влияния литературы на жизненные поступки наши.

— Какие же мысли вычитали вы у этого немца? — усмехаясь, спросил Поварин.

— Занимает меня, к примеру сказать, сегодня, — заговорил Неводов горячо, — дозволено ли злодейство? И когда является оно героическим подвигом, когда бесчестием? Где здесь поставить

границы? Есть ли воля человеческая и желание — достаточное оправдание поступков?

Он остановился, как бы ожидая ответа, но Поварин только проворчал:

— Да вы большой филозо´ф, до чего я не слишком большой охотник.

Князя Матвея больше не занимало восхищение юного поручика, чем-то раздражал он его — и румяным своим, детским почти лицом, и восторженной речью, и чистеньким, аккуратненьким мундиром. Хотелось князю Матвею оборвать разболтавшегося мальчишку, и он мрачно прихлебывал пунш.

Неводов смутился его видом, сконфуженно пробормотал что-то о погоде и наводнении и, отойдя к своему подоконнику, опять принялся за книгу.

«Побесить бы мальчишку, исполосовать ему рожу. Вишь, ровно херувим сидит», — тяжело думал князь Матвей, осушая не то третий, не то четвертый стакан и уже буйно хмелея. Беспричинная злоба поднималась в нем, злоба, понуждавшая его к стольким бессмысленным, безобразным скандалам.

Но в ту минуту, как уже намеревался он встать и подойти к Неводову, придумывая предлог для ссоры, в комнату быстро вбежал офицер.

Вода лилась ручьями с плаща и шляпы его; еще в дверях громко закричал он:

— Братики, Театральное тонет. Едемте спасать. Может, кому что и достанется!

При этих словах первым вскочил Неводов и беспокойно стал разыскивать фуражку и шинель.

Игроки побросали игру и стали расспрашивать о случившемся. Несколько человек приняло предложение ехать спасать Театральное училище.

Весело начали одеваться.

Неводов выскочил первым.

— Эк его, будто муха укусила, когда о девчонках услышал, — громко засмеялся Поварин и, выпив последний стакан, обжегший горло, тоже стал собираться.

Холодный дождь шел, не давая надежды на скорое прекращение. Ветер с моря рвал шляпы. Огромные лужи посередине Невского грозили в близком времени превратиться в бурный поток.

Громко разговаривая, шлепали офицеры по колено в воде.

Поварин с тайным злорадством наблюдал за волнением Неводова.

«Нагадить бы ему хорошенько, чтобы помнил, дозволено ли злодейство. Тоже, филозо´ф!» — с упрямой злобой думал князь Матвей.

Мойка вышла из берегов. Фельдъегерь с большой казенной сумкой плыл на шестивесельной лодке по направлению к Зимнему дворцу.

Немало труда стоило нашим путникам раздобыть свободного лодочника. Наконец, шаля и смеясь, они уселись, и угрюмый чухонец, не вынимая изо рта давно потухшую под дождем трубку, лениво загреб к Офицерской улице. Во многих местах вода достигала уже второго этажа, в окнах мелькали испуганные лица, по воде плавали принадлежности обихода; из крепости все чаще и чаще доносился тревожный гул пушек.

Проехав по Вознесенскому, офицеры свернули на Офицерскую и через открытые настежь ворота попали на обширный двор Театрального училища.

Дрова, которыми бывал всегда завален двор, теперь плавали по воде и мешали пробраться к небольшой стеклянной галдарейке, где прибытие офицеров уже было замечено. Офицеры старались растолкать дрова руками, но все же скоро лодка остановилась, и чухонец, флегматично сложив весла, объявил: «Нет».

С галдарейки смотрели, прижавшись к мутным стеклам, несколько воспитанниц, пользуясь смятением начальства.

— Вот Танюша, а это, кажется, Лизанька Бобик, — вглядываясь в окна, называл Сашка Пухтояров.

— Да, это Лизанька, — промолвил вдруг всю дорогу молчавший Неводов и страшно смутился.

Все со смехом обернулись к нему.

— Ай да Неводов! С самой хорошенькой из всего училища шуры-муры завел, а еще тихоня! — смеялись товарищи.

Неводов чуть не плакал.

В эту минуту распахнулось одно окно и раздался звонкий, почти плачущей голос:

— Господи, котеночек-то утопнет!

— Это Бобик! Ай да девчонка — пальчики оближешь! — толковали в лодке, разглядывая Лизаньку Бобикову.

Князю Матвею даже в голову ударило, такой нежненькой показалась она ему в раме окна, с золотистыми, немного сбившимися волосами, большими темными глазами, тонким, будто вырезанным профилем, стройная и хрупкая, жалобно протягивающая руки к рыжему котенку, вцепившемуся в полено и действительно каждую минуту близкому к гибели.

Неводов сделал порывистое движение к ней, но Поварин силой усадил его на место.

— Куда тебе, мальчишка! — крикнул он и, едва не перевернув лодку, выскочил на колеблемые от его шагов дрова.

— Потонешь, сумасшедший! — кричали с лодки.

Обрываясь и ловко карабкаясь, перепрыгивал Поварин по шаткому плоту. В секунду добрался он до котенка, от ужаса обезумевшего и уже потерявшего голос. Не без труда оторвал князь Матвей ощетинившегося котенка от бревна, сам каждую минуту подвергаясь опасности провалиться, и быстро побежал к галдарейке.

Ухватившись рукой за окно, Поварин подал, как трофей победный, рыженького котенка Лизаньке.

Та прижала его со слезами к лицу и несколько минут не находила слов благодарности, потом, будто опомнившись, она нагнулась к Поварину и, покраснев, произнесла:

— Я вам так благодарна! — и прибавила быстрым шепотом: — Я вижу, вы благородный человек. Ради Бога, окажите мне еще одну услугу и передайте эту записку. Молю вас, никому ни слова!

И она ловко сунула за обшлаг его рукава маленький розовый конвертик.

Ошеломленный нежной ее красотой, князь Матвей не нашел слов. Он прошептал:

— Клянусь! — и, задержав ручку, запихивающую записку, поцеловал тоненькие, со следами чернил, дрожащие пальчики.

В несколько прыжков добрался Поварин обратно в лодку.

— Да ты в крови! — воскликнул Пухтояров.

Действительно, вся рука князя Матвея была в царапинах.

— Это котенок. Чуть было не потоп он, — блаженно улыбаясь, говорил Поварин, обвязывая пораненную руку платком.

— Вот чудной! А девчонка чертовски хороша, — смеялись товарищи.

В окне вместо Лизаньки торчала лысая голова немца-инспектора, известного под кличкой Барабан.

Он стучал палкой и готов был вывалиться из окна от ярости.

— Я буду писать жалоба господину его превосходительству полицеймейстеру на такие безобразные поступки, — кричал он.

— Барабан, барабан, барабан! — веселым хором отвечали ему с отплывающей лодки.

А за спиной инспектора, откуда-то издалека,

Лизанька, прижимая к щеке желтого котенка, улыбалась и делала ручкой.

Поварин быстро обернулся на сидевшего сзади Неводова. Тот сиял и отвечал на знаки, очевидно, назначенные ему.

«Вот как! Это мы еще посмотрим!» — подумал князь Матвей, прищурившись разглядывая смутившегося под его взором Неводова.

III

Приехав домой, князь Матвей скинул промокшее насквозь платье и, надев бархатные туфли и персидский халат, велел денщику принести обед из соседнего трактира и вина.

Пообедав в сумерках, он долго лежал на диване, как бы обдумывая что-то, потом решительно вскочил, зажег свечи и, внимательно осмотрев маленький розовый конверт с тщательно выведенной надписью — «Якову Степановичу Неводову, Его Благородию поручику», тонким ножом осторожно подрезал печать с голубком. На тоненьком листочке неуверенными, кривыми буквами было написано:

«Ненаглядный Яшенька мой! Извещаю Вас, что решение, принятое мною, держу твердо, и

ежели в первый же раз, когда будет идти „Калиф Багдадский“, Вы перед последним актом подъедете к нашему подъезду в карете с зелеными шторами (дабы я не ошиблась), то легко можно будет мне незаметно выбежать из театра и по уговору нашему исполнить. Целую золотого, ненаглядного Яшеньку моего. Любящая по гроб жизни, Ваша Lise».

Перечитав эту записку несколько раз, князь Матвей зашагал по комнате. Он хмурился, усмехался, останавливался у стола, прочитывал записку снова, выпивал залпом стакан вина и опять быстро кружил по комнате, размахивая руками, а иногда даже сам с собою разговаривая.

Если б кто-нибудь украдкой заглянул в эту минуту в окно небольшого, убранного в восточном вкусе кабинета Поварина, страшным бы показалось ему лицо князя.

— Нет, не бывать тому. Я ему покажу, мальчишке. Я его угощу! — бормотал Поварин, угрожающе сжимая кулаки и до боли закусывая губы в бесполезной ярости.

Долго метался так по своей комнате князь Матвей, не приходя ни к какому определенному решению. Когда часы пробили восемь, он перечел еще раз записку, тщательно припрятал ее в затей-

ливый ларчик слоновой кости с инкрустациями и тайным замком (подарок княгини Анны Семеновны) и, крикнув денщика, пошел одеваться.

Сидя перед зеркалом, он внимательно разглядывал свое лицо. Нельзя было бы назвать князя Матвея красавцем, с его узкими, чуть-чуть раскосыми глазами, выдвинутыми скулами, толстыми губами, из-под которых сверкали, как хищные клыки, белые зубы. Но было в его смуглом цвете лица, в блестящих черных волосах, в самих неправильностях черт что-то привлекательное, так что недаром городская молва называла его героем многих, самых разнообразных любовных приключений.

Оставшись, видимо, доволен собой, Поварин воскликнул:

— Не мытьем, так катаньем, — и сделал такое решительное движение рукой, что денщик, натягивавший ботфорту, испуганно шарахнулся в сторону.

В этот вечер собирались у Сашки Пухтоярова, но на улице досадливо вспомнил князь Матвей об утренней сцене с теткой и решил зайти к Карапетке посоветоваться о возможных последствиях, если княгиня приведет в исполнение свои угрозы.

Дождь перестал, но в темноте едва можно было пробраться в иных местах через лужи и грязь. Фонари не горели, извозчиков не было.

Чертыхаясь, плелся Поварин по Литейному, где в одном из переулков проживал известный всему Петербургу Карапет — предсказатель будущего, безжалостный процентщик, поставщик мыла и восточных курений, при случае — ловкий сводник и имеющий еще много других, темных, но прибыльных профессий.

В домишке Карапета крепко-накрепко заперты были и двери, и ставни на окнах. Долгого труда стоило Поварину достучаться. Наконец за дверью закашляла старуха-стряпуха.

— Открывай же, черти, это я, князь Поварин! — кричал Поварин.

Еще помедлив несколько, видимо, сходив сказать Карапету о посетителе, старуха открыла дверь и, ворча, провела князя по темному коридору в кухню.

Круглый фитиль плавал в большой чашке с маслом, шипя и коптя, едва освещая просторную кухню с лежанкой и большой печкой. Карапет, тучный, в красной ермолке и засаленном халате, сидел у стола и, беря пальцами из блюда какую-то снедь, ел, жадно чавкая и вытирая пальцы о

длинную крашеную бороду.

Увидя князя, он весело подмигнул ему.

— А, князь! Хорош князь! Весь день ждал тебя, знал, что придешь. Плохи дела. Ой-ай, как плохи! — Карапет чмокал сожалительно и вместе с тем весело подмигивал одним глазом, как бы насмехаясь.

«Ужели тетка уж снюхалась с ним», — гневно подумал Поварин и закричал, наступая на Карапета.

— Ты чего каркаешь, собачий сын? Я вот тебя стукну по башке, будут плохи дела!

На громкий голос князя из темного угла с лавки поднялся рослый, редкой красоты юноша в белом чекмене, весь с ног до головы увешанный кинжалами, пистолетами и каким-то другим мелким оружием.

— Ишь, завел себе какого, пакостник старый! — пробормотал князь Матвей, невольно отступая перед грозным видом дюжего оруженосца.

Карапет же пришел в большую радость.

— Хорош Абдулка! Хорош! Красивый-то какой, посмотри! — восклицал он, чмокая от удовольствия. — А ты, князь, не сердись. Кушай шептала, изюм кушай, Абдулка песни споет и спляшет, а сердиться не надо.

— Пошел ты к черту со своей шепталой, — раздраженно садясь на лавку, сказал Поварин, — а этому чумазому вели выйти, мне нужно тайно поговорить с тобой!

— Абдулка русский не понимает, ни одно словечко не понимает. Вчера и приехал только. Абдул спать будет, а мешать нам не будет, — с хитрой улыбочкой промолвил Карапет и, потрепав нежно по щеке Абдулку, сунул ему в рот целую горсть сладостей и залопотал что-то на своем басурманском языке. Тот пронзительно засмеялся, блеснув зубами, и ушел опять в свой угол.

— Ну что же расскажешь, князь милый? — начал Карапет.

— Да ты тетку-то видел сегодня? — нетерпеливо перебил его Поварин.

— Мыло, духи, изюм, шелковый шаль носил княгинь. Хорошая покупательница, не торгуется и деньги платит. Кофеем угощает; на картах ей гадал — всю правду сказал. Красавица она торовата, — напевным голосом рассказывал Карапет.

— А про меня разговор был? — скрывая раздражение при мысли о спящем в углу Абдулке, опять перебил Поварин.

— А про тебя, какой же разговор про тебя! «Денег, говорит, ему не давай, — все равно я платить

не буду» — вот и весь разговор.

— Чертовка старая, — бурчал князь Матвей.

— А еще, — продолжал Карапет, — пакет мне дала. Своей ручкой запечатала и сказала: «Сделай мне, Карапет, одолжение, возьми этот пакет и храни. Если за ним пришлю — назад мне принесешь, если же скажу — распечатай! — возьми из него бумаги и пойди в суд, требуй платежа. Хоть денег не получишь, а одного человека упечем. Я тебя вознагражу».

— Да ведь это мои бумаги. Подай их! Ведь ты продал меня, черт поганый, подай! — не сдержавшись, заорал Поварин так громко, что Абдул в углу зашевелился.

— Как можно, князь, отдать. Ой-ай! — спокойно и даже издеваясь как-то, отвечал Карапет. — Как можно! Я тебе по дружбе рассказал, а княгине я верный раб, и нет таких денег, чтобы милость ее Карапетка променял. Видишь, какой ты сердитый, а я тебя любил и сказал — плохо, князь, дело, плохо! Помирись с тетенькой, а то плохо, ой-ай, как плохо будет!

— Так не отдашь, морда проклятая? Не отдашь? — привстав, хрипел Поварин и, раньше чем Абдулка успел подскочить, схватил чашку с фитилем и запустил ее в голову Карапета. Масло,

шипя, разлилось по столу.

Карапет ловко залез под стол и визжал оттуда, как свинья:

— Держи его, Абдул, вяжи его, убил меня! Хватай его на мою голову!

Не успел еще князь опомниться, как оказался уже в цепких объятьях Абдула, который на достаточно чистом русском языке сказал:

— Нехорошо драться, князь, да и не совладать со мной.

— Пусти, не то убью! — отбивался Поварин, бессильный в его руках, как ребенок.

Старуха внесла свечу. Карапет лез из-под стола, путаясь в халате, и хныкал:

— Разбойник, а не князь, надо бы его в квартал доставить, да все равно скоро заберут. Выведи его, Абдулка, на свежий воздух, авось опомнится.

Абдулка ловко подхватил князя, выволок его в сени и потом на крыльцо и, вытолкнув на улицу, запер двери за ним.

В ярости долго ломился Поварин в крепкие дубовые двери Карапетова дома.

«А, значит, правда плохо, если Карапет посмел так говорить. Я ему, мерзавцу…» — подумал князь Матвей и, постояв в тяжелом раздумье посереди улицы в огромной луже по колено, кликнул

дребезжащего по мостовой ваньку и велел везти себя к Пухтоярову.

IV

— Что с тобой? На тебе лица нет! — спрашивал заботливо Сашка Пухтояров, встречая князя. — И вид растерзанный: подрался с кем или авантюра была?

— Оставь, сделай милость! — досадливо прервал вопросы Поварин.

— Да ведь я из участия, как товарищ, — оправдывался Сашка, обнимая Поварина за талию. — Сердитый ты последние дни стал, голубчик, а я тебя вот как люблю!

— Шубы из вашей любви не сошьешь. Мне впору пулю в лоб, а ты с расспросами и участием… Дай-ка выпить! — морщась, промолвил князь Матвей.

— Пойдем, пойдем, наши все собрались. Тебя только ждали. Тугушев забаву новую придумал, картины из дворовых девок показывать будет. Целый воз их навез. — И Пухтояров повел гостя в гостиную, откуда доносились гнусавый голос Тугушева и взрывы веселого смеха.

Довольно большая комната была разделена

на две половины пестрой занавесью. Мебели почти не было, и человек двадцать гостей расположились на низких табуретах и мягких коврах, которыми был покрыт пол. Постояв в дверях, князь заметил в углу одиноко сидящего Неводова и, не здороваясь ни с кем, прямо подошел к нему.

— Весьма рад опять встретиться с вами! — с любезностью промолвил князь смутившемуся почему-то поручику. — Позволите сесть?

Опустившись на ковер, он взял у подбежавшего лакея стакан с вином и, усмехаясь, смотрел на Неводова.

— Начинаем. Прошу внимания! — суетливо закричал в эту минуту Пухтояров и захлопал в ладоши.

Занавес раздвинулся.

У небольшого деревца стояли мальчик, обстриженный в скобку, с пунцовым от смущения лицом и толстая, грудастая девка, нагло усмехающаяся. Оба они были обнажены до крайности.

— Адам и Ева у древа познания, — гнусаво объяснял Тугушев под одобрительный смех зрителей.

За сей следовали картины уж содержания вовсе непристойного, от описания которых сочинитель

воздерживается.

— А Лизанька хороша. Вот бы ее так посмотреть, — нагибаясь к Неводову, шепнул Поварин.

— Что вы говорите, сударь! — воскликнул тот чуть не со слезами в голосе и, встав, быстро оставил князя Матвея.

«Я тебя еще допеку», — думал Поварин, хмелея не столько от вина, сколько от злости и распалявших его мыслей о Лизе.

Было много уже показано картин на библейские и античные сюжеты; было много выпито вина; разговор становился все оживленнее; лица покраснели. Полуголые девки уж плясали в зале и потом пищали на коленях гостей.

Неводов, впервые попавший в подобную компанию, был, как в чаду. Болела голова от излишне выпитого вина, смущал пристальный взгляд князя Матвея, из своего угла неустанно наблюдавшего за ним; слова его о Лизаньке непонятным стыдом наполняли. Несколько раз порывался Неводов уйти, но что-то удерживало его.

— А не метнуть ли банчок нам? — предложил Пухтояров.

Несколько человек с одушевлением приняли его предложение, и около быстро принесенного стола образовался кружок. Неводов, чтобы

не видеть возни с девками, все более и более нескромный вид принимавшей, и скрыться от преследующего взгляда князя Матвея, тоже подошел к игрокам.

— Ты что же, князь? — спросил Поварина Сашка. — Если девочки тебя не занимают, попытал бы счастье?

Поварин вытащил последнюю смятую сторублевку и, подойдя к столу, небрежно бросил ее под карту. Через минуту она взяла.

С тем же небрежным видом Поварин удвоил ставку и — выиграл снова. Так, удваивая каждый раз, он в несколько минут выиграл целую пачку ассигнаций.

— Сегодня сам черт с ним! — досадливо бросая карты, промолвил банкомет.

Несколько человек попробовали было играть против Поварина, но счастье упорно не покидало его.

— Тысяч пятнадцать, поди, наиграл! — завистливо сказал кто-то.

Князь Матвей тупым взглядом обвел игроков и вдруг заметил Неводова, следившего за странной игрой с искренним волнением. Целый план мгновенно явился в отуманенной голове Поварина при виде счастливого соперника; глаза его

заблестели.

Стараясь не выдать волнения, сказал он:

— Господин Неводов, не хотите ли попытать счастье? А кондиции мои таковы: я ставлю весь выигрыш мой, а вы ставкой своей даете мне один день вашей жизни. В этот день обязаны вы вполне подчиниться моей воле, но с оговоркой, что ничего бесчестного исполнить я вас не заставлю. В этом будут свидетелями все присутствующие, и притом достаточно будет одного вашего слова, что требование мое противоречит чести, как условие наше будет считаться расторженным. Согласны?

Усмехаясь, пристально смотрел он в глаза поручика. Тот побледнел, чувствовал, что в словах князя заключается какая-то западня, и не находил слов отклонить вызов.

— Соглашайтесь! — подталкивали его игроки, заинтересованные неслыханной ставкой.

— Только один день и пятнадцать тысяч. Другой такой случай едва ли представится, — промолвил князь Матвей.

Не помня себя, протянул Неводов дрожащую руку и взял карту.

Князь Матвей метал. Все затихли кругом.

— Бита! — сказал, наконец, кто-то, и все горячо

заговорили.

Неводов уже не слышал и не понимал ничего. Возвысив голос, сказал Поварин:

— Требование же мое от господина Неводова заключается лишь в том, чтобы в назначенный мною день явился он утром ко мне на квартиру и пробыл в одиночестве до ночи. Вот и все. Ведь вы, господин Неводов, не найдете такое требование чрезмерным или бесчестящим вас? — и он ласково пожал руку поручика.

В комнате синий стоял туман от дыма трубок; девки визгливо орали срамную песню; в окна сквозь шторы тусклый, холодный пробивался рассвет.

Неводов пил, когда ему предлагали, отвечал на вопросы, смотрел на бесстыжие танцы девок, но было все для него, как в тяжелом тумане.

Только выйдя, наконец, на улицу, вспомнил он о странном проигрыше.

Ужасное беспокойство охватило его.

— Что ему нужно, проклятому? Что ему нужно! — беспомощно ломая руки, бормотал он.

Проходя по Невскому, вдруг увидел Неводов на дверях знакомого трактира вывеску гробовщика. Остановившись, заметил он, что вся знакомая улица пришла в страшный беспорядок: свиное

рыло колбасника переехало к модному магазину. Ужас охватил Неводова, и, сначала ускорив только шаг, скоро бежал он со всех ног, и казалось ему, что кто-то гонится за ним с громким смехом, догоняет, и не кто это иной, как князь Матвей, требующий страшную свою ставку.

Будочник у Аничкова моста остановил офицера и, видя его беспомощное состояние, усадил в пролетку и повез домой.

V

Весь город говорил о небывалом кутеже у Сашки Пухтоярова, закончившемся скандальной дракой, о странном проигрыше поручика Неводова князю Матвею одного дня жизни, о проделке некиих безобразников, перевесивших на Невском все вывески, чем немалое было вызвано недоумение на другое утро. О последнем дошло даже до Государя, и он очень гневался. Полиция тщетно разыскивала шалунов, взяв на подозрение всех гостей Пухтоярова.

Княгиня Анна Семеновна слышала о громких подвигах племянника и, злясь, все еще не решала привести свою угрозу в исполнение.

Неводов слег в постель. Как тяжкий бред, пре-

следовало его воспоминание о страшном вечере и пугающем проигрыше. Каждую минуту ожидал он посланного от князя Матвея с приказом явиться и трепетал в неясном предчувствии чего-то ужасного.

Неизвестность относительно Лизаньки беспокоила его, но слабость и какой-то темный страх не позволяли ему двинуться с места. Он лежал небритый, с воспаленными глазами, прислушиваясь, не стукнет ли входная дверь, не придет ли страшный вестник неведомой беды.

Денщик Мартьяныч боязливо делился с соседями сомнением: «В своем ли уме барин? Больно уж чудной стал».

Князь же Матвей усердно прокучивал выигранные тысячи, три дня уже не возвращаясь домой.

Каждое утро подъезжал он к театру спросить, что идет, и, узнав, что не «Калиф Багдадский», опять возвращался к прерванному кутежу. Наконец, на четвертый день швейцар объявил, что назначен на сегодня «Калиф». Сразу как бы отрезвев, Поварин сурово распрощался с сопровождавшими его собутыльниками и поехал домой.

Дома он тщательно умылся, выбрился, переоделся во все чистое и написал записку:

«Милостивый государь, Яков Степанович, не соблаговолите ли Вы по условию нашему исполнить и немедля явиться на мою квартиру. Свидетельствуя глубочайшее уважение, покорным слугой остаюсь Вашим князь Матвей Поварин».

Менее чем через полчаса Неводов явился.

Вид его был ужасен. Краска сошла с лица поручика; щеки ввалились; глаза блестели лихорадочно, смятение и страх можно было прочесть в них.

— Вы плохо чувствуете себя, друг мой, — приветствовал Поварин гостя, протягивая ему обе руки. — Жаль, что потревожил вас сегодня. Впрочем, вам будет совершенно удобно у меня. Однако, кажется, вы еще не вполне уверены в полном моем расположении и чего-то опасаетесь, — со смешком добавил князь. Гость промямлил в ответ что-то невразумительное. Поварин провел его в маленькую комнатку за спальней, служившую уборной и будуаром.

В ней стояли мягкая оттоманка, стол, несколько стульев.

— Видите, это совсем не похоже на темницу, — говорил Поварин с любезной улыбкой, — надеюсь, вам будет в скромном приюте моем не очень

плохо. Жаль, что вы не взяли с собой книг, — это не противоречило условию. Денщик мой принесет вам обед. Вот здесь карты — от скуки можете разложить пасьянс, а лучше бы всего соснули; мешать вам никто не будет, так как я должен отлучиться.

Он вежливо откланялся и вышел.

Горькой обидой и неясным страхом защемило сердце Неводова, когда услышал он, как прозвенел замок запираемой двери.

Поварин отдал денщику приказ принести днем обед заключенному в комнате поручику, к вечеру приготовить закуску, вина и фруктов и позволил вечером идти со двора. Смышленый денщик сразу понял, что придется ему на эту ночь переселиться к куме — просвирне у Покрова.

Затем князь Матвей торопливо оделся и вышел из дому. Товарищи и знакомые вспоминали потом, что видели князя, кто у Френделя, кто едущим по Морской, но в точности неизвестно, как провел этот день князь Матвей. Рассказывают, что имел он вид человека, торопящегося по важным делам, пьян не был и ни с кем, против обыкновения, ссор не заводил.

Во время второго антракта все завсегдатаи театральные отметили князя Поварина в третьем

ряду кресел.

Заметила его и княгиня Анна Семеновна и тотчас же приказала своей приживалке и наперснице Варваре Максимовне ни за что не прозевать князя Матвея, когда тот выйдет в корридор, где толкались все модники и франтихи.

Варвара Максимовна ловко перехватила Поварина при самом выходе его из зала.

— Княгиня просила по неотложной важности делу зайти к ней в ложу, — заговорила Варвара Максимовна, крепко держа князя за рукав, как бы желая удержать его силой, если он вздумает вырываться, но, к удивлению ее, Поварин не возразил ни слова и покорно пошел за своей похитительницей.

Очаровательной улыбкой встретила княгиня Анна Семеновна входящего в ложу племянника. Варвара Максимовна поспешила скрыться.

Сидя у самого барьера, открытые всей зале, с лицами весело-непринужденными, разговаривали княгиня и Поварин. Никто бы по выражению их лиц не догадался о содержании беседы.

— Итак, — говорила княгиня, кокетливо ударяя веером по рукаву Поварина, — итак, вы сегодня поедете со мной. Князя Евтихия нет дома, вы развлечете меня.

— Итак, княгиня, — отвечал ей в тон Поварин, улыбаясь, — ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда в жизни я не поеду к вам.

— Хорошо! — только совсем легким румянцем выдавая волнение, говорила княгиня. — В таком случае завтра же наш добрый друг Карапет исполнит то, что ему приказано.

— Вы забываете, — вставая, высокомерно сказал князь Матвей, — что если вы меня можете погубить, то и я со своей стороны…

— Ужели, — с громким смехом перебила его княгиня, — кто-нибудь обратит внимание на клевету человека столь подлого, что осмеливается порочить честь женщины, всеми уважаемой.

Поклонившись, князь пошел к выходу. Не выдержав, Анна Семеновна быстро встала и, задержав его в глубине ложи, прошептала:

— Пожалей, меня пожалей! Я так люблю тебя. Обдумай все последствия; легко ли мне губить тебя, но уступить… нет, нет!

В это время оркестр заиграл, и в дверь заглянула Варвара Максимовна.

— Жду тебя после окончания, — успела еще тихо промолвить княгиня.

Ничего не ответив, только пожав плечами, Поварин вышел из ложи.

Может быть, в ту минуту он и сам еще не знал, как поступит. Но начавшийся акт окончательно решил судьбу Поварина.

Когда в толпе других воспитанниц выпорхнула на сцену Лизанька, в голубеньком из тонкого вуаля платьице, будто туман застлал глаза князя.

Едва досидев до конца акта, быстро выбежал он из театра, сел в ожидавшую его за углом наемную карету с зелеными занавесками и, объехав вокруг театра, велел ожидать у заднего подъезда.

Отогнув уголок занавески, зорко следил Поварин за всеми проходящими под ярким фонарем, висящим над подъездом.

Лизанька выбежала из подъезда, накинув на тоненькое платьице, в котором только что танцевала, беленький платочек.

— Подавай! — крикнул кучеру Поварин не своим голосом и распахнул дверцу. Лизанька, как мотылек, не касаясь подножки, впорхнула в карету.

— Это вы, Яшенька? — зашептала она в темноте и, вдруг узнав не того, кого ждала, испуганное сделала движение назад.

— Не пугайтесь! — едва сдерживая волнение, шептал князь Матвей, хватая ее за руку. — Не пугайтесь. Я друг Якова Степановича. Ужели

вы не признали меня? Тот самый, что спас вам котеночка.

Лизанька, вся дрожа от страха, едва вымолвила:

— А он? С ним ничего не приключилось?

— Вы узнаете все. Некоторые обстоятельства не позволили Якову Степановичу самому приехать за вами, и он послал меня как верного и преданного друга своего и, надеюсь, в будущем и вашего.

Взяв холодную, трепетную ручку Лизанькину, он прижал ее к своим губам и так долго не мог оторваться в жадном поцелуе, что Лизанька опять испугалась и зашептала:

— Пустите, пустите! Мне страшно… Ах, зачем Яков Степанович!..

Но князь совладал с собой и, откинувшись глубоко в угол, начал веселой болтовней успокаивать девушку. Карета, наконец, остановилась.

Поварин осторожно помог Лизаньке сойти и, открыв дверь ключом, ввел ее в свои комнаты. Он зажег свечи в кабинете, где на круглом столе стояли приготовленными тарелочки с закуской, фрукты и вино.

— Здесь придется обождать вам, и, может, вы откушаете чего-нибудь? — вежливо промолвил

князь Матвей, а сам не мог уж больше оторвать глаз от Лизаньки.

Она стояла перед ним смущенная, кутаясь в белый платочек и стараясь скрыть обнаженные плечи и руки, с любопытством, хотя не без страха оглядывая причудливый кабинет князя.

Лицо ее со следами грима и пудры, с подведенными глазами казалось князю еще нежнее и прекраснее.

— Какая вы хорошенькая, Лизанька, даже жаль… — тихо промолвил князь Матвей.

Поймав на себе блестящий, тяжелый взгляд его глаз, Лизанька вздрогнула.

— Что вы, что вы! — испуганно забормотала она, еще старательнее кутаясь в платок.

— Даже жаль, что выбрали вы такого мальчишку… Что он понимает в красоте вашей, — продолжал князь, уже не в силах более сдерживаться.

— Где он, Яков Степанович, где он? — в тоске заметалась Лизанька, предчувствуя что-то недоброе.

— Близко он, совсем близко, — заговорил князь, почти вплотную придвигаясь к девушке. — Совсем близко, вон в той комнате, — и, засмеявшись, он почти силой ввел Лизаньку в спальню, смежную с комнатой, в которой был

заключен Неводов.

Поручик провел весь день в страшной тревоге; не прикоснувшись к еде, расхаживал он по комнате, все к чему-то прислушиваясь, и, только изредка останавливаясь у стола, вынимал карту, чтобы по ней узнать, что ожидает его.

Заслышав шаги в кабинете, он притаился у двери, но ни услышать, ни тем более распознать голосов он не мог.

Поварин заговорил хриплым голосом:

— Там твой дружок, там, но прежде ты должна меня поцеловать, тогда, может быть, и выпущу его, — и, нагнувшись, он припал к губам девушки.

— Спасите, спасите! — отбиваясь, закричала она, и в ту же минуту ужасный крик Якова Степановича, вдруг понявшего все, что происходит, ответил ей.

Он ломился в запертую дверь, ударяя в нее кулаками, ногами и головой. Будто озверев, кинулся князь Матвей на вырвавшуюся было на секунду девушку и, целуя жадно, рвал ее легкое голубенькое платье.

Долго ломился Неводов в дверь и вдруг в странном вскрике замолк.

Князь Матвей поднял на руки обессилевшую,

почти потерявшую уже сознание, уже покорную Лизаньку и, как жертву, понес ее на широкую с шелковыми занавесями кровать.

Громкий стук уже в другие, входные двери привел через некоторое время в себя князя Поварина. Сев на кровать, он долго прислушивался; так как упорный стук не прекращался, встал и, выйдя в переднюю, досадливо окликнул:

— Кого там носят дьяволы по ночам?

— Полицейский офицер с приказом, — раздался ответ из-за двери.

«Ужели уже успела? — мелькнула у князя страшная мысль. — Так скоро, проклятая! Ну погоди...»

Ответив: «Сейчас, ключ найду», — он подошел к письменному столу и, пошарив в темноте, нашел давно приготовленный на всякий случай пистолет. Приложив дуло к виску, князь Поварин спустил курок.

VI

Когда полицейский офицер, которому было приказано арестовать всех гостей Сашки Пухтоярова, заподозренных в шалости с вывесками, открыл дверь при помощи слесаря, то в каби-

нете нашел он князя Поварина не дышащим. В спальне, в глубоком обмороке, лежала Лизанька, а в последней комнате, при догорающем огарке, сидел у стола поручик Неводов. Не обратив внимания на вошедших, он продолжал метать карты, повторяя: «Ваша бита, да, бита!» — и тихо, радостно смеялся…

Октябрь, 1911.

Ярославль.

Роза подо льдом
I

Графиня Б. принимала по субботам. Салон ее не был особенно обширен, но только люди безукоризненных репутаций имели доступ в него. Саша Кондратьев, считавшийся троюродным внуком графини, приехал первый. В гостиной еще не было никого. Из соседней комнаты, заглушенные портьерами, доносились нежные звуки клавесина. Саша встал у окна и, глядя на первый густой снег, задумался так крепко, что не слышал, как смолк клавесин, как графинюшка Соня выглянула из-за занавески, как подкралась тихонько к нему и встала совсем рядом, так что когда он резко обернулся, то чуть не ударил ее.

— Как вы рассеянны, кузен! — засмеялась она. — Опять влюблены?

— Опять влюблен, кузиночка, конечно. А Мальтийца у вас нет?

— Какого Мальтийца?

— Как, вы не знаете, что все пажи — рыцари Мальтийского ордена? Они дают обет безбрачия.

— На всю жизнь? — так искренно испугавшись,

вскрикнула графиня, что Саша улыбнулся. — Вы всегда придумаете глупости. Вы забываете, что я вам уж не девочка, — гневно сдвигая крутые брови, чуть не плача от досады, топнула она ножкой.

— Простите, все забываю. Но брата мне очень нужно.

— Ну и ищите его, где хотите.

— Только у ваших ног…

Шурша сиреневым атласным платьем, вошла, высоко неся седую голову в буклях, графиня.

— Это очень мило, что ты заехал к нам. Но у тебя опять какие-то истории. Князь Дмитрий сказывал, — строго обратилась она к офицеру, целуя его в лоб.

— Охота вам слушать, графиня, этого старого враля, — с досадой ответил тот.

— Я знаю цену его словам, но ты смотри. Да вот и он сам.

Чистенький, худенький старичок торопливо вбежал и еще в дверях закричал:

— Важные новости: испанка-то наша жидовкой оказалась и по сему случаю уже рассказывают…

— Ах, батюшка, уволь. Сколько раз просила мне о ней не докладывать. Слушать тошно, до чего мы доходим, — прервала его графиня.

Впрочем, заметив Кондратьева, князь и сам потерял охоту продолжать свой рассказ, — и, подойдя к ручке, вынул табакерку и, набивая нос и многозначительно косясь на офицера, вздохнул сокрушительно:

— Да, да, большое смятение умов.

Этот сезон много говорили о приключениях испанской танцовщицы Хуаны Пелаэс. Было модным сходить с ума по ней, и рассказов, самых удивительных, о ее фантастическом, жестоком и страстном характере ходило по Петербургу великое множество.

Лакеи в старомодных ливреях внесли канделябры. Гостей прибывало. Говорили о возможной войне и последнем приеме. Кондратьев был рассеян и нетерпеливо поглядывал на дверь. Когда в ней показался такой же высокий, стройный, странно схожий с ним, только несколько более бледный паж, он сделал движение к нему навстречу, однако, опомнившись, остался ждать и, поцеловав его, шепнул:

— Николай, выйдем в кабинет, нужно поговорить.

Паж помедлил несколько минут, тихо переговариваясь с Соней, и вышел за братом. Тот стоял, опершись о камин.

— Завтра я стреляюсь за нее с Пастуховым. Условия тяжелы. Если я буду неблагополучен, обещай мне отомстить ей. Понимаешь. Если буду жив, сам убью ее.

— Да, — тихо ответил паж, и, больше не сказав ни слова, они молча пожали друг другу руки и вышли из кабинета, оба стройные, бледные и чем-то еще больше схожие друг с другом, будто одна и та же печать легла на молодые тонкие их лица. Николай подошел к Соне и сдержанно-нежно заговорил с ней. Александр поспешил откланяться и, гремя саблей, вышел.

— Знаете, ведь он завтра… — зашептал, захлебываясь, сыпля табак на бархатный голубой свой жилет, князь Дмитрий, нагибаясь к графине, которая уже не помнила своего запрета говорить об этой женщине.

II

Уже прошел месяц с тех пор, как в морозное ноябрьское утро привезли в карете к дому Кондратьевых на Литейном бледного, со странно заведенными глазами Сашу, в разорванном белом мундире, с небольшим черным пятном против сердца; как постлали солому на улице;

как, не приходя в себя сутки, в бреду шепча: «Ана проклятая, милая Ана», — он умер; как мать рыдала над ним и долго не могла видеть Николая, повторяя: «Как ты похож на него, как похож». Уже Пастухов отбыл свое наказание в крепости, а дом Кондратьевых опустел, так как вся семья выехала за границу; уже в обществе перестали говорить об этой дуэли, волновавшей город целую неделю.

Николай, казалось, перенес все это спокойно и даже как-то равнодушно. Многие удивлялись его выдержке, другие упрекали в бесчувственности. По субботам он бывал у графини, воскресенья же проводил один в пустом и обширном доме, единственным хозяином которого он был теперь. Утром, в Сочельник, Николая разбудили, доложив, что художник, которому было заказано сделать портрет Александра, принес картину.

Николай заплатил, не осматривая работы, хотя художник, желая знать его мнение и ожидая похвал, поставив портрет к свету, спрашивал:

— Как, сударь, находите вы глаза, потом относительно колорита? Можно бы сделать все светлее.

— Я ничего не понимаю в вашем искусстве. Когда приедет maman, мы пришлем за вами, если понадобятся изменения.

Художник обиженно удалился.

Николай тщательно, как всегда, окончил свой туалет, выпил кофе в столовой, выслушав доклад дворецкого, отдал ему распоряжения и спокойно, медленно прошел по ряду пустых гостиных, с мебелью и люстрами, затянутыми чехлами, в большую залу, где в кресле против света остался портрет Александра. Он встал спиной к окну и долго внимательно разглядывал знакомое и будто забытое лицо, томные, насмешливые глаза, полузакрытые тяжелыми веками, изогнутые брови, узкие усы, сквозь которые краснели тонкие губы. И когда, встав, он увидел в большое золоченое зеркало другое лицо, показалось ему, что это то же самое, той же загадочной, неподвижной печатью отмеченное. Не узнавая себя, он вдруг в первый раз понял весь ужас того, что свершилось и что должно было свершиться. Когда ему подали записку, в которой графиня просила его заехать за Соней в Таврический сад, он, перечитав записку и два, и четыре раза, как-то не мог ничего вспомнить и, только пройдясь много раз по гостиным, звонко разносившим его шаги, будто чьи-то чужие, наконец пришел в себя и велел запрягать лошадей.

На улице было сухо и морозно; мелкий снег падал, и зимним багрянцем пылал закат. По

льду бегали на коньках и катались с высоких разукрашенных гор. Николай не сразу разглядел малиновую шубку и белый капор Сони. Она сама подкатилась к нему и, не удержавшись, сияя вся морозом и улыбкой, почти упала на его руки, болтая:

— Как хорошо сегодня кататься, как весело. Юхотин-то хлопнулся прямо затылком. Поедемте с гор. Отчего вы так поздно?

Николай рассеянно ей улыбался, когда она потащила его по крутой лестнице на гору и, опираясь на его руку, шепнула: «Как я люблю вас, Николенька», — он, будто не расслышав, ничего не ответил.

Они покатились на длинных санях, изображающих лебедя, и, крепко удерживая Соню, твердо управляя ходом быстрых полозьев, Николай вышел из своего столбняка и тихо сказал огорченной его неуместным молчанием графине:

— Я вас люблю. Простите меня. Вы знаете, как я вас люблю.

И когда она, повеселевшая, повернула к нему из муфты свое розовое личико с замерзшими на длинных ресницах слезинками, их губы были так близко, что почти невольно он совсем слегка своими холодными не только от мороза губами

коснулся ее губ, детски-припухлых еще, ярких и теплых. От этого движения, незаметного для постороннего глаза, сани изменили свой бег и, глубоко врезавшись в сугроб, перекувырнулись. Отряхивая снег, сконфуженно веселые и счастливые, вылезли из сугроба Соня и Николай. Зоркая гувернантка мисс Нелли уже спешила к ним.

— Итак, это правда, — вздохнула Соня и покорно пошла к грелке за гневной англичанкой.

Поджидая их, Николай прошелся несколько раз по аллее для гуляющих. Дама, вся в черном, высокая и гибкая, очень смуглая, с большой шотландской собакой на ленте, повстречалась ему несколько раз, зорко в него вглядываясь из-под густой с сиреневыми мушками вуали. Так сделали они несколько поворотов, и после третьего или четвертого дама вдруг протянула к нему руку в черной перчатке и сказала негромко, но резко, странно чисто, как иностранка выговаривая слова, которые находила с некоторым трудом:

— Вы — Николай Кондратьев. Я жду вас уже целый месяц.

— Я не знаю, кто должен меня ждать, — похолодев от какого-то темного предчувствия, отвечал тот.

— Я Хуана Пелаэс. Ваш брат мне писал, обещая

вашу месть, что же вы медлите?

— Вы, вы, — задыхался Николай.

— На нас обращают внимание, говорите спокойно, как мужчина, которому поручено такое великое дело — убить женщину. Пойдемте, будто мы гуляем.

Николай молчал. Дама взяла его под руку, и собака враждебно заворчала. Странными духами, сладкими и пугающими, пахнуло на Николая.

— Итак, вы должны мстить. Я готова. Если вы не трус и помните свое обещание, вы придете сегодня около двенадцати часов ночи в павильон на N-ском канале. Я приеду одна и буду беззащитна. Опасность ответа за убийство будет избегнута. Да, вы придете. — И она требовательно пожала его локоть.

— Да, я приду, — тихо ответил Николай.

— Ну, вот и отлично. Идем. — Она крикнула собаку гортанным хриплым звуком и медленно пошла по аллее между голых деревьев и снежных, розовых на закате полянок.

Под вуалью Кондратьев успел разглядеть только блеснувшие зеленоватым блеском глаза.

— Вот вы где! — кричала Соня, почти бегом спеша к нему, тогда как старый ливрейный лакей и взволнованная гувернантка едва поспевали по

скользкому снегу.

— Мисс Нелли говорит, что мы с вами ведем себя, как глупые дети. Защитите меня, — беря под руку Николая, щебетала Соня.

Когда они вышли к воротам и ждали своей кареты, дама с большой белой собакой проехала мимо них и, казалось Николаю, под густой вуалью улыбнулась, слегка кивнув головой, будто знакомым.

III

За длинным обедом, за играми у елки (танцев не было по случаю траура) Николай имел вид спокойный, веселый и нежный. Он сам почти забывал о предстоящем, и когда случайно по ходу игры они с Соней оказались в темном углу за трельяжем и она томно вздохнула: «Сегодняшний каток, ужели это не сон», — он нагнулся к ней и поцеловал ее почтительно и нежно, и вдруг вспомнил, что уже скоро двенадцать.

— Отчего вы опечалились? Что с вами? — тревожно шептала Соня, не видя его лица в тени трельяжа, но чувствуя внезапную его озабоченность.

— Это ничего. Все пройдет, — нагибаясь к ее

маленькой ручке с голубым камушком на мизинце, сказал он и повел ее, как невесту, на середину залы, так как голоса играющих давно призывали их нетерпеливо.

Простившись, уже в передней, он в последний раз улыбнулся Соне и надолго запомнил, как она в розовом платье и высокой, легкой прическе стояла у двери в залу, сконфуженно и печально перебирая ленту, и сквозь слезы отвечала на его улыбку улыбкой.

Было холодно. Снег падал тяжелыми хлопьями. Луна сквозь облака тускло блестела. Николай отпустил кучера и пошел быстро, придерживая рукой в правом боковом кармане длинный, острый кинжал, чтобы он не болтался на ходу. На башне близкого замка отбивало полночь.

На огромной, пустой площади далеко пылал костер. С моста еще Николай увидел сквозь снег в стороне карету.

Он сошел по доскам на лед; павильон, окруженный парком, едва белел на другой стороне. Пройдя до половины канала, Николай разглядел свет в одном из боковых помещений. Поднимаясь по лестнице, спускающейся к воде, он увидел даму, казавшуюся от высокого капора еще более высокою. Она прислонилась к колонне и ждала

его.

— Вы аккуратны. Я только что приехала. Ужасно торопилась. Какой мороз сегодня. Пройдемте, — промолвила она деловито-равнодушным тоном, когда Николай поднялся на площадку и остановился в замешательстве. Ана открыла маленькую дверь, и они вошли в круглую комнату со сводами, с развалившимся камином, с позеленевшим от плесени амуром на стене. Комната освещалась небольшим факелом, прикрепленным к фонтану посередине; масло капало в круглый бассейн, растапливая лед в нем. Ручная грелка, поставленная на единственное кресло, уже согрела несколько комнату, наполняя ее каким-то туманом и запахом смолистых благовоний, слегка кружащих голову. Дама скинула капор и шубку на пол и осталась в шелковом зеленом платье, прозрачном и делающем ее стан еще более гибким. Волосы ее были связаны небрежно, и только одна золотая иголка с рубиновым сердцем и крупная пунцовая роза оттеняли матовый блеск их. Черты ее неправильные, почти некрасивые делали непонятной в первую минуту ее обаятельность. Она молчала, не глядя на Николая и грея тонкие пальцы в перстнях над грелкой.

Николай остался у входа. Быстро вскинув

блеснувшими зеленоватым огнем глазами, она заговорила насмешливо:

— Вы и красивее, и моложе. Вас бы я, пожалуй, так скоро не бросила. Не хотите ли попробовать удачи? Впрочем, вы, я слышала, скромны. Не в Сашку.

— Молчите, — задыхаясь, крикнул Николай и, сам того не помня, выхватил кинжал.

— Ну, что ж вы хотите? Вот, вот, я ваша, — каким-то хриплым голосом зашептала она и одним скачком приблизилась к Николаю совсем близко. Глаза ее загорелись тем знакомым блеском, щеки покрылись алыми пятнами.

— Вот, я ваша, — еще раз повторила она и, раскрыв руки, как пригвожденная к кресту, ждала его удара. Николай медлил.

— Ну, что же, боишься? Нет, я знаю, что, знаю, что, — совсем тихо прошептала Ана и, соединив руки, обняла голову Николая и не поцеловала, а как-то впилась в его холодные, суровые губы.

— Прочь, — опомнившись, крикнул он и толкнул ее так сильно, что она ударилась о бассейн фонтана и факел, вспыхнув зловеще, с треском погас, наполняя всю комнату душным смрадом.

Николай бросился бегом через канал, слыша за собой сдавленные хриплые звуки не то смеха, не

то рыданий.

IV

Николай проснулся поздно, и не первой мыслью его было вчерашнее. Открыв глаза от яркого ликующего солнца, он сразу вскочил и начал радостно поспешно одеваться, помня только Соню. Но через секунду он вспомнил и другую. Как будто тяжелым молотом ударили по голове, и он остановился одеваться, держа чулок в руках. Страшная бледность покрыла щеки.

— Нездоровы, сударь? — спросил камердинер, заметивший его смятение. — Прилегли бы еще.

— Нет, вздор. Ничего этого не было и быть не могло, — как бы отвечая кому-то, громко проговорил он.

Сдерживаясь, Николай спокойно оделся, но оставаться в доме одному не было сил, и, проходя через залу, где стоял еще портрет Александра, он отвернулся от него и невольно прибавил шагу.

«К Соне, к Соне», — думал он и три раза посылал торопить лошадь, нетерпеливо натягивая перчатки.

Уже легкие, быстрые сани промчали Николая по сияющему праздничным оживлением Нев-

скому, завернули за угол, от которого третий дом был графини, как странная мысль пришла ему в голову, и он велел ехать в другую сторону. Доехав до моста, он отпустил кучера и, пользуясь пустынностью места, направился вчерашней дорогой к заброшенному белому павильону. На льду и лестнице следов не было, и уже какая-то уверенность овладевала Николаем. Солнце освещало павильон через круглое окно в потолке, задевая косым лучом своим зеленого амура и отражаясь в круглом бассейне разрушенного фонтана. В комнате не было никаких напоминаний вчерашнего и, постояв в дверях, Николай уже совсем спокойно, уверенно подошел к бассейну.

— Странный сон, — усмехнулся он. Чистым, прозрачным льдом скована была вода бассейна, и, нагнувшись, Николай разглядел на неглубоком дне почерневшую большую розу, которую вчера он заметил в прическе Аны. Несколько минут в безумном ужасе разглядывал Николай ее, еще не понимая всего, что случилось, и потом медленно, не оглядываясь, вышел.

Будто все в его жизни изменилось, будто уж не то солнце светило, что минуту назад; не тот ослепительный снег сверкал на большой, пустынной площади. Сам не зная, куда идет, Николай пошел

по направлению к Летнему саду. Юхотин, один из товарищей, догнал его.

— Что с тобой, Кондратьев? Такая задумчивость? И чем-то с лица ты изменился за эти дни. Знаешь, как ты все-таки похож на покойного Александра — прямо портрет. Да, сегодня вечером ты будешь…

Николай уже не слушал его и, резко повернув в Летний сад, быстро пошел, твердо зная, что он идет сейчас к Ане Пелаэс и что рука его больше, даже на минуту, не занесет над ней длинного узкого кинжала.

14 декабря 1909.

С.-Петербург.

Филимонов день

Филимон Петрович проснулся гораздо раньше, чем первые сумерки рассвета заглянули в окно и у Вознесенья ударили к утрене. В тепло натопленной горнице лежал он, то вспоминая сладко вчерашний вечер и неясные, но обещающие слова Евдокии Константиновны (которую и в мыслях не дерзал он называть Дунечкой), то мечтая о предстоящем торжестве своем, придумывая ловкие словечки и мадригалы, которые он найдет случай шепнуть сегодня в розовое ушко за обедом, за альманом, за веселыми и простыми играми в том небольшом и уютном домике на Фурштатской, где в семействе коллежского секретаря Курочкина нашел себе рай и ад, раздираемый любовью, ревностью, робостью, надеждой, Филимон Петрович Кувырков — только что испеченный регистратор государственной коллегии по иностранным делам.

Погрузившись в эти мысли, он, сам того не замечая, задремал и, увидев у постели своей огромную, до потолка достающую султаном кивера фигуру офицера, в шинели и с усами, нисколько не удивился тому.

«Должно быть, Назарыч забрался. К чему бы в такую рань? — подумал Филимон Петрович во сне про частного пристава. — Разве поздравить?»

— Кувырков, а Кувырков! — громким голосом говорила фигура. — Знаешь ли, брат, что сегодня сбудется?

Хотелось Филимону Петровичу ответить: «Что сбудется? Посватаюсь за Евдокию Константиновну, ей-богу, посватаюсь», — да лень было. Сладко улыбнувшись, он заснул еще крепче, чувствуя, что кричит уж фигура и трясет его за плечо.

— Ну, что же такое сбудется? — досадливо промолвил, наконец, Кувырков, продирая глаза.

— Заспался, батюшка, к обедне звонят, а ты спать все, о, о!

Квартирная хозяйка, Минна Карловна, в белом чепце и переднике стояла перед своим постояльцем, держа в одной руке поднос с именинным, вкусно пахнущим кренделем.

Розовоперстая Аврора, редкостная петербургская гостья, не стучала в замерзшее стекло. Тусклая, пасмурная полутемнота нагоняла на Филимона Петровича мрачные предчувствия. «К чему бы это привиделось?» — думал он, лениво натягивая полосатый чулок. В задумчивости, без всякой тщательности совершил он свой празд-

ничный туалет и, только достав коричневый новый фрак, отвлекся мыслью от утреннего видения, не удержался, подпрыгнул на одной ноге, приговаривая: «Знатный фрачец», — и веселым вышел к уже хлопотавшей над кофейником Минне Карловне.

— Молодой человек, и так спит. Фуй! Невеста проспишь! — встретила его немка.

— Ну-с, на это-то мы не согласны, Минна Карловна. Свое дело всегда помним. А, знаете, перед решительным боем сон — самое главное, — бойко отвечал он, принимая из рук хозяйки большую чашку, расписанную желтыми и голубыми цветочками.

— Весело, воин, собираешься, как-то возвращаться будешь? — смеялась Минна Карловна.

— Возвратимся сам-друг. Раскрывайте ворота шире.

Вспомнив, что надо еще забежать к парикмахеру, Осипу Ивановичу, завиться, Филимон Петрович заторопился завязать розовый галстук бабочкой и, накинув шинель, выбежал в сени.

— Господин Кувырков, одну минуту аудиенции, — окликнул его голос с лестницы мезонина, и верхний квартирант, как бы поджидавший его выхода, быстро сбежал, шагая через ступени. Это

был молодой офицер гвардейской конной артиллерии, хороший приятель Филимона Петровича, с которым тихое разногласие разделило его за последнее время, так как чуть ли не один и тот же предмет на Фурштатской улице занимал обоих.

— Могу служить? — с холодной вежливостью отозвался Филимон Петрович, предугадывая какое-то объяснение неприятного свойства.

— Господин Кувырков, вы честный человек, вы исполните мою просьбу. Мы были не в согласии это время, но потому-то я и обращаюсь к вам.

— Что случилось с вами, батюшка? — искренно забыв свою неприязнь к приятелю, воскликнул Филимон Петрович, пораженный его тоном и расстроенным видом.

Прислонившись к двери, офицер несколько минут молчал. Он был бледен. Черные волосы выбивались из-под кивера. Глаза блистали решимостью и вместе глубоким волнением.

— Вот, — сказал он, задыхаясь. — Эту записку вы передадите Евдокии Константиновне, если через три дня я не потребую от вас ее назад.

Из-за обшлага мундира он вытащил помятый розовый конверт без адреса.

— Да что с вами? Чем вы потрясены? — допытывался Кувырков.

— Скоро вы узнаете. Теперь не время. Позвольте поцеловать вас. Может быть, вы последний… — голос его оборвался. Он коснулся небритой щекой лица Филимона Петровича и вышел быстро, мелькнув черным плащом раньше, чем, оторопелый, тот успел сказать что-нибудь.

«Странно, — думал Кувырков, переходя улицу к парикмахеру. — Очень странно».

Осип Степанович, грея щипцы, имел обыкновение сообщать местные новости. Сегодня он был менее охотлив к разговорам, и, только закладывая последний локон, сказал:

— Врут, будто сегодня новому царю присягать велено. Константина то бишь Павловича будто в кандалах ныне привезут на Торговую площадь и там расказнят. Слышно ли у вас в департаменте?

— Ври больше, пока язык не укоротили, — прикрикнул на него старик-мещанин, ожидавший своего череда, и на этом разговор прекратился.

На улице становилось светлее; холодный ветер срывал шляпу и распахивал шинель. Филимон Петрович шел по Казанской улице, быстро шагая и думая только скорее совершить изрядный свой путь. На углу Гороховой проходившие войска задержали его. Вглядываясь в солдат, заметил он нечто поразительное. Шли они стройным по-

рядком со знаменем и офицерами при частях, но скрытое волнение какое-то нарушало обычный строгий ряд солдат. Иные перешептывались, иные спустили ружья наперевес. Офицеры не кидали свирепых взглядов на нарушителей дисциплины. Несколько статских замешались в ряды и на ходу объясняли что-то толпившимся около них.

Смутному и настойчивому любопытству отдавшись, Филимон Петрович, сам не зная зачем, пошел по панели вслед за солдатами. Только на площади остановился он в кучке таких же, как он, любопытных, тогда как Московский полк (он разглядел знаки его), как на параде, отошел марш-маршем по площади, к зданию Сената.

Вся площадь открылась перед ним. Подобно маневрам передвигались войска, строясь у Дворца, Сената, Собора, дома Кушелева. Мелькали султаны, развивались значки полков. Смутный гул команды и голосов доносился с одной и с другой стороны. Мнения наблюдавших события с угла Гороховой расходились.

— Благодать-то, благодать-то какая. Вся хвамилия, как на ладоночке, который только кто, разглядеть не могу. Растолкуй, Герасим Аркадьевич, — шамкала слезливая старушонка.

— Вот дура, так дура! Большая благодать, свернут себе головы. Брат на брата, озорники. Что в Писании-то сказано? — мрачно возражал большой черный купец в меховом картузе.

— А любезного нашего брата кончину неустанно оплакивая, слышишь ли? — передавал грамотей на память слова манифеста.

— Да какой царь, энтот или тот, манифест дал?

— Один у нас Его Императорское Величество государь император Константин Павлович.

— Ан, врешь! Константину твоему капут. Николай Павлович воцарился.

Облокотясь на угол дома, Филимон Петрович прислушивался к этим смутным и превратным толкам, и странное смятение овладело им, хотя он не понимал ни происходящего, ни происшедшего.

Сухой и короткий треск выстрелов, казалось, никого не удивил, только выставивший из окна дома большую зрительную трубу сухощавый немец убрал ее и окно закрыл.

Издалека, как шелест волн, ветром доносило не то жалобные, не то отчаянные крики:

— Константин! Константин! Константин!

От Главного штаба, выровнявшись, шел лейб-гренадерский полк. Одинокая фигура высокого

офицера в одном мундире с пышным султаном остановила его.

— Мы за Константина! — донесся ответ полка.

— Тогда вот вам дорога, — и, махнув рукой, офицер повернулся и пошел к кучке, где стоял Филимон Петрович.

Уже оставалось между ними только несколько шагов, когда ужас охватил Кувыркова. «Да ведь это он», — вспомнил Филимон Петрович вдруг давешний сон. Хотел бежать, и ноги не слушались, хотел крикнуть, остановить приближающегося, отвратить что-то, и не мог догадаться, что надо сделать.

— Шапки долой! — с утра еще знакомый, громкий, слегка сиплый голос фигуры услышал он, но, взглянув в гневом сверкающие глаза, как бы окаменел.

— Граф, — шептали кругом, и дородный Милорадович подскакал, осаживая взмыленного коня почти в самую толпу.

— Sire, — воскликнул он, обращаясь к офицеру, и, как бы получивши вдруг способность отдаться своему страху, Филимон Петрович бросился бежать со всех ног, не поднимая оброненную шляпу.

Опомнившись, Кувырков не узнавал местно-

сти, куда забежал.

«Что за вздор сегодня со мной приключается?» — подумал он, и, взглянув на часы, увидел, что пропустил час, когда обещал сегодня явиться к Евдокии Константиновне. «Вот так именинник. Наклюкаться не успел, а голову потерял», — укорял он сам себя и, закричав проезжающего ваньку, приказал везти себя на Фурштатскую, поднятым воротником стараясь скрыть отсутствие шляпы.

Пирог уже стоял на столе, когда Филимон Петрович, оправивши перед зеркалом в передней розовый галстук свой и новенький фрак, вошел в небольшую светлую столовую Константина Сергеевича Курочкина.

— Простите, матушка, невольное запоздание. В городе уж очень неспокойно, — подходя к ручке хозяйки Анфисы Федоровны, извинялся Филимон Петрович.

— Слышал, слышал. Большое смущение и распаление невежественных умов породила новая присяга, — говорил Константин Сергеевич и пригласил гостей приступить.

За обедом, между жаркими, говорили о городских новостях, причем каждый из гостей, натурально, оказался свидетелем событий самых

удивительных. Один Филимон Петрович молчал, мало ел, меланхолически поглядывал на тоненькую, с крутыми бровями, бледным лицом, едва окрашенным нежным румянцем, с алыми губами Евдокию Константиновну, тоже пригорюнившуюся, сидящую против него, но не отвечающую на его робкое пожатие ее ножки под столом.

Уже убрали со стола последние сласти, старики ушли в кабинет оканчивать свои рассуждения о событиях и докуривать трубки, а молодежь толпилась в зале, не приступая еще к забавам, пересмеиваясь и переговариваясь, а Филимон Петрович не нашел еще ни одного слова сказать задумчивой Евдокии Константиновне и не знал, как приступить к жгущему язык признанию, да и приступать ли?

Но Евдокия Константиновна сама искала с ним беседы.

— Придите сейчас в мою светелку незаметно. Нужно поговорить, — шепнула она после некоторого колебания и, заалевшись, быстро отошла от кавалера, переполнив его радостными и тревожными чувствами, так как наступала решительная минута, и все слова, мадригалы, признания, столь гладко придуманные утром, вылетели из головы куда-то далеко, и не мог собрать он даже одной

фразы для вступления.

— Ну, что Бог пошлет. Выручи, Небесная! — шептал он, крадясь по скрипучим ступеням лестницы, и около самой двери в светелку перекрестился.

Евдокия Константиновна не встала от окна на его стук и не отняла рук, которыми наполовину закрывала свое смущенное и расстроенное лицо. В комнате было почти темно, так как мокрыми хлопьями валивший снег приближал сумерки, и только синяя лампада перед киотом освещала один угол, туалет в розовых кружевах, край белого полога и образ Варвары Великомученицы.

— Простите, Филимон Петрович, меня. Не подумайте чего-нибудь дурного, но вы единственный. Мне так, так совестно, — первая заговорила Евдокия Константиновна, поспешностью покрывая свое смущение.

— Помилуйте! Как милости сам хотел умолять я вас об этих минутах. Измучился я. Решите судьбу мою…

— Ах, не надо сейчас, не надо! — встав, заговорила она.

— Не могу ждать я более, лучше погибель, чем томительная неизвестность. — И он упал перед ней на колени.

— Филимон Петрович, милый, дорогой, не торопите меня. Дайте подумать. Я знаю истинность ваших чувств, и я ценю их, для того и позвала вас. Скажите мне одно только слово. Ведь вы видели его вчера или сегодня. Что с ним, какой он? Только одно слово. Скажите!

Будто ударил кто по лицу кнутом Филимона Петровича. Злые слезы его скрыла только еще более сгустившаяся темнота. Несколько минут молча склоненным оставался он у ног Евдокии Константиновны, трепетной и тоже молчащей.

— Ну что же с вами, милый Филимон Петрович? Ради Бога, простите меня. Я отвечу, я подумаю. Но сейчас, скажите, скажите, если вы истинно любите меня, — говорила она и, слегка нагнувшись, касалась рукой волос его.

— Хорошо! — поднявшись и выпрямившись, сказал Филимон Петрович. — Я скажу вам все. Не только его имел случай я сегодня утром встретить, но и поручение взялся от него к вам исполнить, передать записку, но через три дня сроку.

— Сейчас, сейчас, подайте мне ее! Где она? Голубчик, всю жизнь не позабуду. Сейчас подайте, слышите!

В темноте сверкнули ее глаза. Кувырков молча пошарил в карманах, за обшлагами, осмотрел

себя со всех сторон, но письмеца не находил.

— Света! — крикнула Евдокия Константиновна и сама засветила огарок.

Записка не находилась.

Забыв всякую осторожность, Евдокия Константиновна потащила его вниз, заставляя перерыть всю шинель, сама за подкладкой шаря.

— Вы поедете сейчас домой. Сейчас! Вы привезете его или письмо. Без этого не являйтесь, последние это слова мои. — И она почти насильно натянула на Филимона Петровича шинель и вытолкнула его за дверь.

Без шляпы, под мокрым снегом поплелся Кувырков домой, предаваясь печальным мыслям. Только на полпути встретил он заспанного извозчика. Колотя в шею, погонял Филимон Петрович его. Очутившись у дома, быстро взбежал он по темной лестнице в мезонин. На громкий стук его в дверь ответа не последовало.

«Где б ему быть, кроме как дома, если не у Курочкиных?» — размышлял Филимон Петрович. Постоял у безмолвной во мраке двери, бесполезно заглянул в скважину, постучал еще раз и в медленном раздумье спустился к себе.

Вздув огонь, тщательно пересмотрел Филимон Петрович всю свою комнату, потеряв надежду,

сел, не снимая шинели, у стола, загораживая глаза от свечи, и думал, что случилось таинственного с верхним постояльцем, что готовит ему поведение Евдокии Константиновны и что такое есть призраки.

17 мая 1909 г.

С.-Петербург.

Филимон-флейтщик
I

Денщик Василий не привык удивляться поступкам барина своего, поручика лейб-гренадерского полка Якова Петровича Тараканова. Он и не удивился, когда тот, придя часу в одиннадцатом домой, не потребовал ни чаю, ни ужина, а сел, не отстегивая даже портупеи, за стол и писал, не вставая, и до часу, и до двух, и до половины четвертого, и дольше, сколько ни отбивали старые хриплые часы в передней над головой Василия, заставляя его пробуждаться, заглянуть в щелку двери на спину поручика, почесаться и снова заснуть до следующего боя.

Впрочем, поручик иногда вскакивал и быстро пробегал по своей комнате, которая, с большими шкапами, книгами, разбросанными по креслам и оттоманкам, оружием, принадлежностями амуниции, табаком в картузах, являла соединение кабинета ученого и походной палатки.

Рассеянное и глубокое волнение можно было прочесть во всех движениях Якова Петровича: он набивал трубку и забывал о ней; судорожно

отыскивал книгу, загибал страницу, начинал читать и не замечал, когда книга валилась на пол; потом опять бросался к столу и писал быстро и сосредоточенно, размазывая строки и откидывая исписанные страницы на кровать.

Уже в не закрытом занавеской окне тускло забелел большой сугроб от зимнего рассвета, когда Яков Петрович кончил писать, перечел последнюю строку: «Верного в любви и клятвах помните Якова Тараканова», засыпал страницу золотистым песком и, сложив листки по нумерам, запечатал их в большой синий пакет, приложив к горящему сургучу знак своего черного перстня. Василий не сразу проснулся, когда поручик, встав над ним, тихим голосом будил его:

— Друг, встань-ка, встань-ка, друг.

Барин и всегда обращался с ним вежливо, но тут была в его словах такая ласковая тихость, что даже Василий удивился и, выслушав приказ отнести пакет по адресу, остался несколько минут в молчаливом размышлении: «Чтой-то с его благородием сделалось».

А его благородие стал покойнее, как будто отделавшись от долго мучившей его мысли. Он прошелся несколько раз по комнате, задумчиво выпуская дым густыми кольцами, докурил труб-

ку, выколотил ее и сказал громко и решительно не то Василию, не то самому себе:

— Пора.

Василий выскочил из передней, ожидая приказаний. Поручик меланхолически поглядел на него и велел давать одеваться.

— Обед, ваше благородие, прикажете принести?

— Да, да, — ответил Яков Петрович, сосредоточенно оглядывая в зеркало свою небольшую фигурку почти мальчика, в парадном мундире.

— Тут еще, ваше благородие, портной приходил, денег просит, грозится.

— Да, да, хорошо, — таким тоном опять ответил Тараканов, что Василий почувствовал тщетность всяких разговоров с ним и, молча подав ему шинель, кивер, перчатки, проводил до сеней, пожелал счастливого пути и, возвратясь на койку, подумал, зевая: «Не в себе его благородие, не иначе как решение насчет Евдокии Кондратьевны принял и письмо к ней, вишь, целую ночь сочинял. Не миновать теперь свадьбы. Хлопот-то не оберешься».

С этими мыслями Василий и заснул.

II

Яков Петрович шел по набережной, тщетно вглядываясь в противоположный берег, где Сенат и Исаакий едва-едва выступали из сумерек и тумана. По мосткам он спустился к Неве и пошел прямо льдом по узкой тропинке, обнесенной еловыми ветками. Холодный и мокрый ветер с моря срывал кивер и распахивал шинель. Почти уже на середине реки какой-то темный предмет привлек внимание Якова Петровича. Предмет двигался медленно и с трудом по глубоким сугробам.

«Угодит в полынью», — подумал Яков Петрович и, прибавив шагу, закричал:

— Сударь, сударь!

Сударь, как бы не слыша, продолжал, спотыкаясь, идти снегом.

Смутное беспокойство овладело Таракановым. Прибавляя шагу, он, наконец, побежал, придерживая рукой кивер. Вдруг предмет скрылся.

«Ну, пошел под лед», — подумал Яков Петрович и, бросив шинель на елку, кинулся в одном мундире в сугробы.

В нескольких шагах, пройти которые немалый

труд представило, увидел Яков Петрович предмет. Он барахтался в глубоком снегу, выбившись, видимо, из сил. Круглая полынья синела у самых ног его — еще один шаг, и быть бы ему в ней. Быстро Яков Петрович подскочил к нему и так крепко схватил за плечо, что тот упал на спину и остался так лежать недвижимо. Яков Петрович нагнулся и странное существо увидел. Мальчик ли, девочка — трудно было различить по тонкому нерусскому лицу, совсем бледному, с странно красными губами. Одето оно было в ситцевый ватный халатик с цветочками, подпоясанный ремнем, на котором болтались две тонкие, гибкие флейты; красная феска на голове выдавала его происхождение.

— Зачем здесь турка? — вслух подумал Яков Петрович.

— Мы не турка, мы греки, — не шевелясь, тихо, но явственно произнесло странное существо.

— Чего же, сударь, развалился? Вставай и идем, на дорогу выведу. Вишь, тебя угораздило у самой воды.

Грек молчал. Яков Петрович потянул его за рукав совсем слегка и поднял, странно не испытывая никакой тяжести, будто тело состояло из одного халатика.

Встав, он оказался мальчиком-подростком, черномазым и как-то уж слишком худощавым. Пошел он молча и быстро, как бы скользя по снегу на невидимых лыжах, тогда как Яков Петрович завязал в сугробах, задыхался и отставал. На тропинке грек обождал его. Подув на обмерзшие свои пальцы, он приложил флейту к красным губам и тихо, заунывно, будто плача, заиграл.

«Чудак», — подумал Яков Петрович и, вдруг опять охваченный своими мыслями, пошел рядом с греком, не замечая больше его и не слыша жалобных звуков флейты. Так, молча, они прошли всю Неву, и, только выйдя на площадь, грек спрятал свою флейту и, сказав: «А зовут нас Филимон», быстро пошел прямо ко дворцу, в котором уж мелькали тревожные свечи; а Яков Петрович, едва ли расслышав эти слова, которые он вспомнил, однако, потом, так же быстро направился к Гороховой.

III

Было уже совсем светло, когда Яков Петрович вывел свой отряд на большой казарменный двор и остановился, будто не зная, что делать. Все слова, все планы, как действовать, такие ясные и

простые вчера, вылетели из головы, и как начать, он не знал.

На крыльцо вышел высокий, смуглый адъютант.

— Господин поручик! — окликнул он.

Улыбкой, которая не совсем выходила, стараясь ободрить, он заговорил строго:

— К чему ваша медлительность? Отступление невозможно. Разъясните солдатам, как было условлено, и ведите их. Вам записка. — И он подал розовый конверт.

Яков Петрович расслышал и понял только последние слова и, разорвав конверт, быстро прочел: «Мужайтесь. Помните ваши клятвы. Удача — слава, и я ваша. Е.».

И все вдруг вспомнил Яков Петрович.

— Не беспокойтесь, — весело ответил он адъютанту и сбежал с крыльца, гремя саблей.

— Ребята, — закричал он еще издали солдатам. — Ребята, не выдадим батюшку императора нашего Константина. Не сложим присяги. За мной!.. Служба наша не пропадет.

Будто только и ожидая этих слов, солдаты повеселели и нестройно, но сочувственно загалдели в ответ.

— Шагом марш, — скомандовал Яков Петрович

и сам улыбнулся недавним своим сомнениям.

Бодро и весело шел Тараканов впереди своего отряда, думая совсем не о том, что совершить сейчас предстояло, а все о ней, о задумчивой и прекрасной Eudoxie, такой суровой и вдруг благосклонной в самые последние дни. Мечты поручика летели дальше, к тем дням, когда он в генеральском мундире встанет с ней на атлас в ярко освещенном соборе, и виделись ему уже: сверкающая митра пресвитера, венчающего их, и за фатой бледное, будто в тумане, нежное лицо, и слышал поздравления и церковное пение.

— Пришли, ваше благородие, — тихо шепнул шедший рядом старый унтер, посвященный в планы.

Яков Петрович вздрогнул от неожиданности и едва не сбился с ноги. Мрачно темнел перед ним дворец. Опять какое-то сомнение овладело им. Но, вспомнив записку, вытащил он незаметно из-за обшлага маленький розовый конверт, зажал его в руке и, твердым взглядом окинув шеренги солдат, решительно повел их к воротам.

Часовой, отдав честь, как-то смущенно и тихо произнес пароль. Громко дал ему ответный Тараканов. Седой комендант, бледный и встревоженный, вышел из караульни.

«Его еще не тронем», — быстро решил Яков Петрович и, отдав саблей салют, уверенно произнес:

— По приказанию Его Величества. Для охраны дворца!

Комендант, успокоившись, сделал рукой пропускающий знак. Поручик и солдаты вступили в темный широкий корридор.

Ясно и твердо знал Яков Петрович, как начать и как кончить; рукой, сжавшей конверт, забившееся сильнее, чем обыкновенно, сдерживал сердце.

«Вот сейчас выйдем на свет. Караул у дверей, караул у других. Мне больше десяти человек не понадобится. Потом сигнал из окна. Она его тоже увидит. О, Eudoxie, помните ли вы сейчас меня? Все для вас и за вас».

Так быстро летели мысли и вдруг оборвались. Тихие, знакомые, печальные звуки флейты услышал Тараканов. Уже оставалось несколько шагов до конца коридора, и тусклым светом блестела большая зала, в которой у камина сидело несколько человек, как вдруг не своим голосом вскричал Яков Петрович:

— Назад, братцы, опоздали мы! — и первый, обернувшись, бросился бежать, передавая смятение и ужас всему отряду, хотя только одному ему и на одну минуту был виден преградивший путь

мечом мальчик-подросток с бледным лицом и странно-красными губами, в блестящем одеянии, с флейтой в левой руке.

IV

«Погибло, ужели погибло все?» — думал Яков Петрович, когда отряд выбежал на площадь и унтер, видя расстройство офицера, принял командование и равнял спутавшиеся ряды.

Быстрая объяснительная ложь пришла Якову Петровичу в голову сама собой:

— Опоздали, братцы, неудача. Саперы заняли раньше нас дворец. Но не унывай. К Сенату! Марш-маршем!

И, слегка задыхаясь от недавнего страха, он побежал впереди отряда.

Странную веселость и бодрость обнаружил Яков Петрович в эти часы, когда стоял со своими друзьями и преданными им солдатами у Сената, ожидая каждую минуту гибели от наведенных уже на них пушек. Сама гибель казалась ничтожной перед той темной и страшной тайной, что владела душой Якова Петровича и открыть которую не посмел бы он ни одному человеку в мире. Уже пал жертвой безрассудной преданно-

сти Милорадович; уже заговорщики отразили нападение кавалерии; уже у пушек толпились артиллеристы, и последние увещания были отвергнуты твердо хранящими двойную присягу Константину и свободе. Ряды заколебались в ту минуту, когда у пушки синим пламенем вспыхнул фитиль. Яков Петрович, помня только одно, что должен, должен гибелью искупить он страшную тайну, бросился вперед и примером геройства своего удержал от бегства перед выстрелом.

«Eudoxie, перед вами виноват я», — в последний раз подумал он, и, закрыв глаза, ждал смерти.

С тяжким грохотом упал снаряд, штукатурка посыпалась с Сената, и кровавым пятном отметилось окно, в которое любопытный не в меру канцелярист высунул голову в ту минуту. Яков Петрович обернулся к смешавшимся рядам. Тщетно он и несколько офицеров призывали к послушанию. Будто обезумевшие, бежали солдаты, часть по Галерной, часть на Неву.

«Всему я причина», — подумал Яков Петрович и бросился бежать. Точно крылья выросли у него, и, пока солдаты толпились у крутого спуска Исаакиевского моста, он перегнал их, прыгнул через широкую полынью у берега, и, когда прыгал,

казалось ему, что кто-то поддержал его и подсказывает, что надо делать. Выхватив саблю, один пошел он навстречу солдатам и грозным «стой» остановил смятенных.

Подбежавшие офицеры построили кое-как ряды.

— На Петропавловскую, — крикнул Бестужев. В знакомых чертах офицера на минуту мелькнули Якову Петровичу другие, тоже знакомые черты и странно красные губы. «Он с нами», — с ужасом подумал Яков Петрович, и в ту же минуту грохот разорвавшегося снаряда и треск льда оглушили его.

— Тонем! Константин! Свобода! Ура! — доносились крики. На минуту Яков Петрович потерял сознание. Он чувствовал мгновенный острый холод воды, потом кто-то тащил его, оттирал грудь, нагибался к лицу.

— Eudoxie, — тихо вздохнул он и открыл глаза. Уже совсем стемнело. Оба берега зловеще чернели без огней. На льду далеко были рассеяны кучки беглецов. Офицер наклонился к нему, приняв его за Бестужева, Яков Петрович прошептал:

— Михаил, все погибло?

— Ничто не может погибнуть. Все совершилось, как должно было совершиться. Я не Михаил, а

Филимон.

В безумном ужасе вскочил Яков Петрович, узнавая бледное лицо и слишком красные губы.

— Вы, вы, — задыхался он. — Что вам нужно, зачем вы преследуете меня? Лучше смерть!

— Вы нездоровы, — сказал офицер тихо. — Вы поймете все. Вот, если захотите разъяснений. — Он сунул ему маленький кусочек бумаги. — Спешите домой, пока путь свободен, — и, поклонившись, он пошел к противоположному берегу, хотя широкая полынья и заграждала дорогу.

V

Придя домой, Яков Петрович велел Василию запереть дверь и никого не пускать, пока он не позволит. Среди черных, в сафьяне, со знаками креста и чаши, масонских книг нашел Яков Петрович старый, закапанный воском про́лог и, открыв его в указанном на записке месте, прочел о том, как при Диоклетиане в Египте, около Антинополя, при игемоне Фиваидском Ариане было гонение; как некий Аполлоний-христианин умолил язычника Филимона, юношу, играющего на флейте, смениться с ним одеждами и вместо него принести жертву идолу; как Филимон, одев

христианское платье, чудесно испытал благодать веры, и дождь, сойдя, был для него крещением; как Аполлоний и Филимон подверглись мучениям; как стрела, пущенная в Филимона, отраженная невидимой броней, возвратилась к пославшему и пронзила глаз игемону; как Филимон незлобиво обещал игемону исцеление землей с могилы мучеников.

Яков Петрович едва успел дочитать, как громкий стук в двери потряс дом.

Докончив страницу, еще не понимая всего, что заключалось в ней для него, успокоенный и просветленный, велел Василию открыть дверь пришедшему арестовать его полицейскому чиновнику с отрядом. И уже следуя за своей стражей, он повторял про себя строки про́лога: «По мученiи нашемъ, персть отъ гроба вземъ, приложи ю къ своему оку и здраво око твое будѣть».

7 декабря 1909 г.

С.-Петербург.

Туфелька Нелидовой. Таинственная история

I

Зима в том году стояла сырая и бесснежная. Туманы делали коротким петербургский день. Со свечами вставали и после полудня опять свечи зажигали. В девять же часов по приказу обер-полицеймейстера свет уж должен был быть везде погашен. Охали рестораторы, нарастившие себе брюхо и мошну за веселое и гульливое время матушки-Екатерины. Даже гвардейские франты присмирели; где уж думать о гулянках, когда в шестом часу надо дрожать на разводе; только и дум, чтобы амуниция была в порядке да с марша не сбиться; только и разговору, что о немилостях и ссылках.

Ни о балах, ни о картах никто не думает, разве государь прикажет кому созвать гостей и подпиской обяжет собраться всем званым — так и тут, в танцах, как на плац-параде, боятся слово сказать, повернуться не по правилу под зорким взглядом гневливого государя.

Машенька Минаева не выезжала вовсе в этом

году.

Отец ее Алексей Степанович, адмирал в отставке, когда-то внесший и свое имя в славные списки героев Очакова, не был в милости у нового двора и, отговариваясь нездоровьем, заперся в своем небольшом, пожалованном покойной императрицей доме на Фонтанке, мечтая с весны навсегда покинуть хмурую столицу для свободной жизни в обширной курской вотчине.

Машенька не скучала, однако, своим уединением, нарушаемым только частыми посещениями Михаила Николаевича Несвитского, поручика гвардии, еще осенью объявленного ее женихом.

Быстро пролетали дни для Машеньки. Примеряла ли она платья в девичьей, где десять искуснейших рукодельниц, не разгибая спины, с песнями кроили, вышивали, метили приданое; читала ли Машенька вслух отцу в кабинете английские газеты, совещалась ли с нянюшкой Агафьей о хозяйстве, все помнила о нем, о Михаиле Николаевиче, и о светлом счастье своем.

Вдруг среди разговора задумается она и улыбнется собственным мыслям своим, и все кругом нее улыбнутся, улыбнется и Алексей Степанович, и дряхлая Агафьюшка, и девушки — всем радостно на радость ее смотреть.

А эти вечера, когда, сидя за шахматами со своим будущим зятем, размечтается Алексей Степанович о жизни в деревне, о свадебных торжествах или еще о чем, а Машенька вся вспыхнет за пяльцами от радостного смущения; или когда, разбирая с женихом в зале на клавикордах французские романсы, перекинутся они ласковыми словечками, а иной раз и робкий поцелуй прозвучит в полутемной зале…

Только влюбленные оценят всю очаровательную прелесть этих вечеров, только они поймут то, что овладевало тогда Машенькой, вставляло забыть постоянное уединение, не чувствовать той смутной тяжести, что охватила весь Петербург с новым царствованием.

Михаил Николаевич Несвитский хотя и нес службу, но тоже, опьяненный любовью, не очень тяготился всеми суровостями, к тому же через дальнего родственника своего, занимавшего видное тогда положение, уже выхлопотал он себе разрешение весною подать в отставку и уехать в деревню для поправления хозяйственных дел.

Случилось как-то Несвитскому держать караул в новом, только что тогда отстроенном дворце.

Расставив солдат, стал сам Михаил Николаевич в большой зале.

Ярко горели свечи в канделябрах (не любил государь темноты, требовал, чтобы весь дворец был освещен), пронизывающей сыростью веяло от стен, тусклые зеркала отражали белые колонны и обширную пустую залу.

Сначала жутко было и холодно стоять поручику, и вспомнились странные слухи о непонятных вещах, совершавшихся в угрюмых залах дворца, недобрых предзнаменованиях, вспомнились рассказы о последних лютостях царя, и невольно подумал он: «Скорее бы подале отсюда!»

Но вспомнив, что недолгий срок уже осталось переждать до радостного дня свадьбы и свободы, улыбнулся сам себе Михаил Николаевич, дал волю сладким мечтам и скоро обо всем на свете забыл, кроме невесты своей милой, прекрасной, думающей сейчас о нем там, в тихом домике на Фонтанке.

Крепко задумавшись так, стоял Несвитский на карауле, отраженный десятком тусклых зеркал в пустой, ярко освещенной зале.

Когда с шумом распахнулась дверь, вздрогнул поручик, будто пробужденный от сна, и выронил шпагу из закостеневшей руки.

Император, в полной парадной форме, с лицом, багровым от гнева, выбежал из двери.

Вдогонку за ним, едва не коснувшись его головы, пролетела золоченая туфелька, звонко ударившись о паркет.

Спокойно вышла фрейлина Нелидова, подобрала туфлю и, удалившись, закрыла дверь за собой.

В одну секунду произошло все это.

Едва опомнившийся Несвитский не успел поднять оброненную шпагу, как государь, заметивший его в зеркале, круто повернулся и подбежал к поручику.

Голубые глаза Павла белыми вспыхивали огоньками, у рта была пена, казалось, сейчас упадет он в припадке.

Задыхаясь, закричал он:

— Зачем вы здесь? Последний ремесленник больше знает свободы в своем доме, чем я. Шпионы! Глаз не спускаете! Нет, не дамся вам живым, не дамся! В каторгу! В Сибирь! Я вам покажу! Виселицы!

Визгливый голос его прерывался. Темнело в глазах у Несвитского, едва успел вымолвить он, дрожа:

— Караул держу, Ваше Величество!

— Какой караул! Кто распорядился! — опять кричал Павел. — Кто смеет! Субординацию, сударь, забыли. Как смеете разговаривать со мною!

Снять с него мундир! В Сибирь, завтра же! Шпионы, убийцы, не дамся!

Казалось, еще минута, и он бросился бы с кулаками.

Льстиво кто-то сказал:

— Не тревожьтесь, батюшка, Ваше Величество!

Будто опомнившись, обернулся государь:

— Ты, Кутайсов. — И, не глядя больше на Несвитского, тяжело дыша, добавил: — На гауптвахту его. Прими оружие. Завтра разберу.

Закрыв лицо руками и как-то жалобно, по-детски всхлипнув, Павел быстро выбежал из залы.

— Пожалуйте шпагу, сударь, — сухо сказал граф Кутайсов почти терявшему сознание поручику.

II

На следующее утро долетела горестная весть до домика на Фонтанке. Писал один из старых друзей Минаева, что положение Несвитского очень плохо. Гневается государь и слушать не хочет о пощаде; верному Кутайсову, попробовавшему замолвить слово о поручике, досталось несколько пощечин.

Дрожали руки у Алексея Степановича, когда водил он бритвой по седому подбородку. Натянув

слежавшийся, с потемневшим золотым шитьем парадный мундир, в ленте и орденах, поехал Минаев со двора узнавать и хлопотать о злосчастном женихе.

Выли в девичьей девушки, побросав работу.

Еле бродила, вся мокрая от слез, Агафьюшка, со страхом поглядывая на свою барышню, которая ни слова не сказала, ни слезинки не выронила, будто каменная, села в кабинете и сидела, не двигаясь, и час, и два, и три, дожидаясь возвращения отца.

Уже начинало смеркаться, когда приехал, наконец, Алексей Степанович.

Войдя в кабинет, молча обнял он, поцеловал Машеньку и, ни слова не сказав, прошел к себе в спальню. Да и не надо было слов, по лицу отца догадалась Маша о страшной новости: не удались хлопоты адмирала, отняла злая судьба жениха ее любимого.

Но Машенька и тогда не заплакала, странная мысль овладела ею. Так твердо велела она няньке принести старую шубку и послать за извозчиком, что та не посмела спрашивать и отговаривать.

Ударил мороз в ту ночь, и холодная багровилась заря, когда Маша вышла за ворота. Приказав извозчику везти себя на далекую линию Васи-

льевского острова, Маша задумалась.

Вспомнился ей во всех подробностях вечер в прошлом году у князя М.

Любил князь немногочисленному, но избранному обществу друзей, собиравшемуся по четвергам, предложить забаву какую-нибудь необычайную и диковинную: то картины как-нибудь из крепостных актеров составить, то балет, или пастораль какую; арапчат как-то выписал нарочно, чтобы пели и дикие танцы свои представляли. В тот же вечер, с особой радостной гордостью встречая гостей, предупреждал, что покажет искуснейшего мага и чародея, который или изрядный плут, или действительно кудесник, так как фокусы его объяснению не поддаются.

В маленькой гостиной горели две свечи.

Когда все собрались и разместились, князь ввел высокого костлявого человека в поношенном коричневом кафтане.

— Господин Кюхнер, — представил его князь.

Низко поклонившись, Кюхнер по-немецки сказал несколько вступительных слов. Он сказал, что есть много тайного, непостижимого в природе и что некоторым людям дана способность тоньше чувствовать эти непостижимые тайны и даже управлять, насколько слабых человеческих

сил может хватить, этими тайнами.

Затем он попросил позволения погасить свечи. В темноте долго оставался недвижимым и безмолвным Кюхнер, потом вдруг слабый вспыхнул огонек у того места, где стоял заклинатель, смутные послышались звуки, будто вдалеке кто-то играл на арфе.

Необъяснимый страх вдруг охватил тогда Машеньку, и, не выдержав, она лишилась чувств.

Сеанс прервался; ее вывели.

Скоро, придя в себя, Машенька попросила оставить ее одну. Полежав некоторое время в спальне княжны, странное беспокойство испытала Машенька. Непременно захотелось ей повидать еще раз Кюхнера.

Гости уже сидели в столовой, и, пройдя по корридору, Маша нашла господина Кюхнера в маленькой гостиной. Он прохаживался, опустив голову и глухо покашливая. Был он очень бледен и казался глубоко уставшим. Пот капельками показывался на лбу из-под парика.

Маша подошла и заговорила с ним по-немецки:

— Простите, — сказала она, — я так глупо прервала ваши опыты.

Он посмотрел на нее рассеянно, будто не видя,

потом вдруг взгляд его стал внимательнее.

— Вы, — начал он, — вы отмечены. Вы чувствуете не так, как другие. Для всех это забавные фокусы, вы же почувствовали мою силу.

Он вдруг смутился, закашлялся и замолчал. Маше невыносимо стало жалко его. Она протянула ему руку. Кюхнер осторожно взял своей холодной рукой маленькую Машину ручку и, будто почувствовав ее сожаление, сказал:

— Вы одна, милая барышня, подали руку мне. Что я для них? Шут, ловкий плут. Если бы только знали они, как тяжело мне достаются эти минуты, что я развлекаю их. Если бы только знали они, что… — Он опять оборвал свою речь и, помолчав, добавил: — Я сам виноват. На великие дела помощи и спасения надо было бы употреблять чудесные силы, а не на жалкие забавы; но я стар, слаб и не гожусь больше ни на что. Впрочем, клянусь, если когда-нибудь понадобилась бы вам, милая барышня, моя помощь, я бы напряг последние силы и сделал бы чудо, да, чудо!

Маше стало страшно; показалось ей, что безумен этот старый немец, а он вытащил кусок бумаги, написал свой адрес и подал ей с глубоким поклоном.

Больше Маша не видела Кюхнера и даже почти

не вспоминала его.

Уже на полдороге хотела Маша вернуть извозчика, смешной и безумной показалась ей мысль, внезапно явившаяся, ехать к Кюхнеру и просить его помощи.

«Что он может сделать? Как пособит? Да и жив ли он или не уехал куда», — тоскливо думала Машенька. Но что-то мешало ей вернуться, а извозчик уже съезжал на лед Невы.

Не без труда разыскала Маша красненький покосившийся дом Еремеева, обозначенный в адресе.

Спрошенная Машей на дворе толстая баба долго молчала, как бы не понимая вопроса, потом, зевнув, сказала:

— Немца тебе нужно. Живет здесь, да не знаю, не помер ли, уж очень слаб стал. В мезонин-то толкнись. — И она указала дверь.

Странная тревога овладела Машей, когда карабкалась она по темной скользкой лестнице.

В неопрятной, бедно обставленной, пропитанной насквозь запахом табака комнате лежал на диване Кюхнер. Он был в халате и без парика и показался Маше еще бледнее и костлявее с прошлого года.

Кюхнер сразу узнал Машу и не выказал удив-

ления ее приходу. Он попробовал подняться, но, обессиленный, сейчас же опять склонился на подушку.

— Вы извините, фрейлейн, — заговорил он с жалкой какой-то улыбкой, — я не совсем здоров. Стар становится Кюхнер, слаб; уж не ездит в золотых каретах, не получает писем от князей и императоров.

Маша смущенно молчала, не зная, как заговорить о деле, которое казалось ей теперь неисполнимым.

Кюхнер, закрыв глаза, полежал молча несколько минут и потом спросил:

— Ну, расскажите, фрейлейн, чем могу помочь вам? Ведь я помню мое обещание, и никогда я не давал ложных клятв.

Сбиваясь, рассказала Маша о вчерашнем случае во дворце и гневе государя.

— О, ваш император жесток! — выслушав рассказ, промолвил Кюхнер. — Я знаю его. Гневом своим он может испепелить страны, но знайте, фрейлейн, есть силы, которые покоряют и государей. Гнев покоряется волей, волю покоряет другая, сильнейшая воля. Только бы мне увидеть его, заставить взглянуть в мои глаза, и вы увидели бы…

Маше становилось страшно, как в прошлом году, казалось ей, что немец безумен.

Кюхнер же поднялся и сел на своем диване, глаза его блестели, пересохшие губы странной кривились улыбкой.

— О, я бы хотел вызвать на последний бой. Кого? — Императора! А, розенкрейцер, ты узнал бы власть старого Кюхнера! — так говорил он, воодушевляясь все больше и больше. Потом, будто опомнившись, он успокоился, лег и сказал тихим голосом:

— Завтра в два часа будьте в Летнем саду, и вы увидите нашу встречу.

Кюхнер закрыл глаза и, казалось, задремал. Помедлив, Маша тихо вышла из комнаты.

Приехав домой, Маша, как бы только что поняв страшное несчастье, постигшее ее, не раздеваясь, села на сундук и горько заплакала.

— Ну, слава Богу, с слезами-то горе выливается, — шептала, крестясь, Агафьюшка, хлопоча около своей питомицы.

III

Каждый день в определенный час государь имел привычку выходить на прогулку.

Чаще всего один, без свиты, быстро проходил он по главной аллее Летнего сада, иногда выходил на набережную и шел до Адмиралтейства, возвращаясь потом той же дорогой во дворец. Когда он был милостив, то любезно раскланивался с гуляющими и даже любил, если какой-нибудь проситель, упав на колени, останавливал его. Государь выслушивал просьбу и часто тут же ставил свою резолюцию, но так как светлых дней бывало меньше и чаще государь был раздражен и гневен, тогда останавливал офицеров, находя упущение в амуниции, кричал на дам, не умеющих сделать положенного реверанса, — то жители петербургские избегали в этот час показываться в Летнем саду, и только наивные провинциалы делались жертвой царского гнева.

Впрочем, государь как-то заметил, что Летний сад опустел, догадался о причине этого и очень гневался.

С тех пор была учреждена тайная очередь, и каждый день офицеры различных частей шли, крестясь и молясь чтобы прогулка обошлась благополучно, навстречу государю.

Всю ночь не отходила Агафьюшка от Машиной постели. Наплакавшись, уснула Маша, но спала неспокойно; словно в бреду, несвязное что-то бор-

мотала она, то начинала звать жалобно Мишу, называя ласковыми его именами; то поминала незнакомое няньке имя господина Кюхнера и начинала быстро что-то лопотать по-немецки.

Молилась нянька, с уголка спрыснула девушку, плакала, будила Машу, но та как в горячке была. Хотела Агафьюшка уж будить барина, да побоялась, что за лекарем-немцем пошлют, а лекаря, словно черта, боялась старуха.

Рано утром проснулась Маша и сейчас же забеспокоилась узнать, который час.

Несмотря на все уговоры няньки, потребовала одеваться. Преодолевая слабость, тщательно умылась и причесалась, и даже выкушала горячего молока, принесенного Агафьюшкой. Казалась Маша спокойной и твердой; удивлялась, глядя на нее, старуха.

Только когда, выйдя в столовую, увидала Маша отца, за ночь будто на десять лет постаревшего, — не выдержала и, бросившись на шею Алексею Степановичу, зарыдала. Плакал и адмирал, как малый ребенок.

Первая успокоившись, нежно утешала Маша отца.

Около полудня тревога овладела Машей, приближался час, назначенный Кюхнером; боялась

Маша, не знала, верить или не верить странному обещанию безумного немца.

После обеда, когда Алексей Степанович лег по обычаю отдыхать, а куранты пробили час, Маша отослала Агафьюшку на кухню, а сама, быстро одевшись, незаметно прокралась на двор и за ворота.

Сухой падал снег. Тускло было и холодно.

Почти бегом, будто боясь, что остановит ее кто, бросилась Маша по набережной Фонтанки к Летнему саду.

Проходя мимо дворца, вспомнила, что здесь томится жених ее, здесь и разлучитель их злой, — упало сердце, и показалось, что тщетны все надежды на спасение. Но, как бы повинуясь чужой воле, продолжала она путь, уже не понимая хорошенько, что с ней делается.

У ворот Летнего сада стоял Кюхнер.

Маша даже сразу не узнала его; вчера показался он ей таким слабым, что представить не могла она, чтобы он двигался, сегодня же Кюхнер выглядел совсем здоровым, даже легкий румянец выступил на желтых, впалых щеках, тщательно выбритых.

Отвесив Маше низкий старомодный поклон, Кюхнер сказал очень просто и деловито:

— Вы, фрейлейн, пройдете в боковую аллею и сядете на второй скамейке. Оттуда вам будет видна наша встреча, а может быть, понадобится ваше присутствие, и тогда я сделаю вам знак.

Будто в полусне провела Маша эти полчаса на указанной Кюхнером скамейке в пустынной аллее. Она уже не думала ни о женихе, ни о странных поступках Кюхнера, она не боялась и не тревожилась.

Гуляющих было мало. Маша видела синий плащ Кюхнера. Он несколько раз вскакивал со скамейки, беспокойно прохаживался, размахивая как-то смешно руками, и опять усаживался на свое место.

Приближения императора Маша не заметила; только когда Кюхнер, вскочив порывисто, вдруг опустился на колени перед невысокого роста в треуголке с перьями человеком, Маша догадалась, что это государь.

Сквозь голые ветки деревьев Маше было ясно видно, как Павел, будто испугавшись чего-то, отступил на шаг от Кюхнера, потом он дал знак ему подняться.

Без шляпы, с развивающимися от ветра буклями парика, высокий и костлявый, стоял Кюхнер, видимо, что-то быстро и горячо говоря государю.

Тот слушал его со вниманием и как бы с изумлением даже. Иногда Кюхнер приближался совсем близко к государю, заглядывая ему в лицо, а один раз Маша заметила, что Кюхнер коснулся даже рукой плеча Павла.

Маша смотрела внимательно, но, странно, никакого волнения не испытывала она, будто все происходившее не касалось ее вовсе.

Только один раз вздрогнула Маша: что-то страшное совершилось там, на главной аллее Летнего сада.

Будто желая ударить Кюхнера или отмахиваясь от слов его, поднял Павел руку и несколько секунд оставался с неподвижной, поднятой рукой, потом отшатнулся, как бы падая; поддержанный Кюхнером, он отвернулся и быстро, почти бегом бросился ко дворцу.

Маша нашла Кюхнера на скамейке.

Он не сидел, а почти лежал; лицо его было бледно, шляпа упала в снег; он едва мог открыть глаза, когда Маша тревожно нагнулась к нему.

— Ничего, ничего, фрейлейн, — сказал он тихим, слабым голосом, — не волнуйтесь, маленькая усталость. Это нелегко — повелевать императором… Да, — добавил он, будто вспомнив, — ваш жених будет сегодня свободен и

завтра получит отставку. Подальше отсюда, подальше… Страшно здесь, а скоро… — совсем тихо он прошептал: — Я увидел сегодня его смерть, его страшную гибель. Перед своей смертью чуешь и чужую.

Он замолчал, тяжело дыша, и закрыл глаза. Радость, которой нельзя было почти поверить, и вместе с тем острую, мучительную жалость к этому умирающему старику почувствовала Маша. Она не могла говорить, слезы душили ее. Нагнувшись, она поцеловала желтую костлявую руку господина Кюхнера.

IV

Через неделю Кюхнер умер. Как известно, в марте того же года страшная смерть постигла императора Павла. Часто задумывалась Марья Алексеевна Несвитская над этой таинственной историей, имевшей такое странное и огромное значение в ее жизни.

Декабрь, 1911 г.

Ярославль.

Ганс Вреден

Посвящается Н. Гумилеву

I

В числе иностранцев, привлеченных соблазнительными приглашениями Петра и преувеличенными слухами о быстрых наживах и возвышениях, Ганс Вреден прибыл осенью 17** года в Петербург. Он не имел определенных планов, надеясь на счастливую звезду свою, быстрый и холодный, несмотря на молодость, ум, сильные руки и красивое открытое лицо. Впрочем, отец Ганса, тоже Ганс Вреден, кроме напрасных наставлений об осторожности и скромности дал Гансу письмо к старинному своему другу и куму Францу Лебенцу, уже давно покинувшему родину и звавшему Вреденов в Петербург, суля свою помощь и хорошие дела.

Ранним утром воскресенья 23 сентября въехал Вреден в Петербург. По сонным улицам, мимо недостроенных домов, пустырей и каналов быстро пронеслась почтовая тройка, не давая времени

в туманных сумерках рассмотреть заспанному путнику северную столицу, рассказы о которой давно занимали его воображение.

Отсчитав третий от угла дом, ямщик лихо осадил тройку у голубых ворот и, сказав: «Ну, немец, приехали», пошел стучать кнутовищем в полукруглое небольшое окно, в котором уже светились ранние свечи. На стук через некоторое время выглянула голова в колпаке, и когда ямщик по-русски, а Ганс по-немецки закричали «Господин Лебенц», голова, нисколько не удивившись неожиданному приезду далекого гостя, проговорила:

— Ну, входите, дорогой Ганс Вреден. Дверь открыта для вас. Я жду вас с вечера.

Слегка удивленный, каким образом оказался хозяин предуведомленным о его приезде, Ганс взошел на высокое крыльцо, и дверь действительно оказалась незапертой. Ганс поднялся по лестнице в круглую, довольно большую комнату, в которой на столе перед пылающим камином были приготовлены три прибора и стояли две свечи.

Ганс сосчитал внесенные ямщиком пожитки и, дав ему на водку, отпустил его. Гладкие голландские стены блестели от красного пламени

камина. В комнате никого не было. Ганс прошелся по толстому плетеному ковру, откинув занавеску, посмотрел в окно на маленькую церковь напротив, в которую уже тянулись ранние богомольцы, и потом, сев в глубокое кресло и протянув ноги к огню, незаметно задремал. Проснулся Ганс как бы от какого-то толчка. У стола, загораживая рукой свечку, стояла девушка лет пятнадцати в белом платье и разглядывала его с беспокойным любопытством.

Ганс вскочил и, тоже рассматривая ее бледное, будто восковое лицо с слегка выпуклыми большими глазами, тонкими красными губами, скорее некрасивое, но чем-то поражающее, тоже не сразу нашел слова.

— Фрейлейн, — заговорил он наконец, — я прошу извинения. Я приехал слишком рано. Я Ганс Вреден.

— Вы Ганс Вреден, — повторила девушка, как бы вспоминая что-то про себя.

— Может быть, фрейлейн, вы слышали когда-нибудь мое имя. Ваш батюшка, — ведь вы дочь господина Лебенца? — ваш батюшка давно любезно приглашал меня.

— Я слышала ваше имя, — повторила задумчиво девушка.

— Я приехал, чтобы… — начал Ганс, но девушка, сделав быстрое движение, перебила его голосом резким и пронзительным:

— Вы приехали, чтобы спасти меня.

Ганс в смущении отступил на шаг.

— Разве вы нуждаетесь в спасении, фрейлейн?

— Ах, не мучайте, не мучайте меня, дорогой господин Вреден. Я так ждала вас. Ужели вы обманете меня? Дайте мне вашу руку.

Ганс не трогался с места, и девушка сама приблизилась к нему и сама взяла его руку.

— Не правда ли? Вы защитите меня? У вас голубые глаза, золотые волосы. Вы славный рыцарь. Да, да.

И, будто не замечая молчания Ганса, она, становясь все более и более восторженной, неожиданно опустилась на колени и прижала руку Ганса к своим губам.

— Фрейлейн, что вы делаете, успокойтесь, Бога ради, я сделаю все, чтобы помочь вам. Успокойтесь, фрейлейн, — воскликнул Ганс, стараясь поднять девушку.

— Ну, помните, милый, милый. — И, как-то странно улыбнувшись, томно закрывая глаза, она взяла свечу и медленно пошла к двери, у которой, в последний раз обернувшись, повторила: — Ну,

помните, милый, милый!

Раздумывая, что все это означает, Ганс не заметил, как дверь растворилась и господин Лебенц быстро вбежал в комнату. Это был небольшого роста, довольно толстый старичок очень почтенного вида. На нем был парадный розовый кафтан с золотом, шелковые лиловые чулки и высокий парик с локонами. Он суетливо обнял гостя, как бы давно знакомого и привычного человека, хотя видел Ганса, только когда держал его в пеленках во время крестин. Не расспрашивая ни о родных, ни о путешествии, он сейчас же сел за стол, пригласив и Ганса. Толстая старуха в ту же минуту внесла блюдо с картофелем и, ответив сумрачно на вопрос хозяина по-русски, так что Ганс не понял, вышла.

— Фрейлейн больна. Вы знаете, какая Марта проказница, — весело подмигнув Гансу, захохотал старик и жадно накинулся на еду. Они позавтракали молча, и, только встав из-за стола, господин Лебенц сказал:

— Ну, дорогой крестник, теперь во дворец.

— Как, сегодня же? — удивился Вреден.

— Сейчас же. Знаете: кто теряет минуту, теряет вечность.

Та же старуха подала хозяину шляпу и трость,

и, шагая через две ступени, он так быстро побежал с лестницы, что длинноногий Ганс едва поспевал за ним.

II

Добрая рыженькая лошадка быстро покатила таратайку, которой правил сам Лебенц, иногда прерывавший молчание для того, чтобы показать кнутом на какой-нибудь пустырь и пробормотать: «Вот собор, вот дом князя N, вот театр», — хотя Ганс и мог разглядеть только какие-то навороченные балки и груды камней.

— А вот и дворец, — указал Лебенц на небольшой белый дом, окруженный не то лесом, не то парком и не отделенный от улицы никаким забором.

Привязав лошадь к дереву, Лебенц быстро пошел по узкой тропинке между кустов к белому дому. В передней, на шинели, разостланной по полу, храпели два солдата. Сверху доносились звуки клавесина, топот ног и счет «ейн, цвей, дрей».

Лебенц и Вреден вошли в приемную. Несколько сановников в лентах прохаживались по комнате, переговариваясь между собой, и не обратили

никакого внимания на вошедших. Оставив Ганса стоять у окна, Лебенц на цыпочках подкрался к запертой двери во внутренние покои и, сначала чуть-чуть постучав, потом просунув голову в дверь, наконец пролез в соседнюю комнату, плотно притворив за собою дверь.

Ганс с любопытством осматривал русских вельмож, но скоро почувствовал страшную усталость и, прислонившись к стене, не закрывая глаз, почти терял сознание. Так прошло много времени. Музыка и топот ног в верхнем этаже не прекращались, сановники, прибывая, наполняли приемную, здороваясь шепотом и чопорно откланиваясь друг другу.

Вдруг страшный шум раздался в соседней комнате. Гансу показалось, что он расслышал пронзительный, напоминавший ему странную утреннюю встречу с фрейлейн Мартой голос своего крестного. В приемной все замерли. Дверь с треском распахнулась, и господин Франц Лебенц почти вылетел спиной в приемную, успевая на лету все-таки выделывать какие-то почтительные пируэты. Сейчас же за ним в дверях показался император. Он был в золотом парадном кафтане, глаза его пылали, лицо почернело от гнева. Солнце из соседней комнаты освещало его

сзади, и он стоял, как бы окруженный сиянием. В руках он держал толстую, суковатую дубину. Громовым голосом закричал он, видимо, продолжая начатый еще в другой комнате спор:

— Я тебя, господин мошенник, вместе с твоей девчонкой живьем сжечь прикажу! Ты у меня попляшешь! Посмотрю, как ты не откроешь мне двери, когда я с ротой преображенцев приду к тебе винца твоего попробовать, на фрейлейн Марту полюбоваться, для примера тебя на воротах повесить! Вон, собака!

И хлопнув дверью так, что все окна задребезжали, а музыка наверху смолкла, император скрылся в своем кабинете.

Господин Лебенц, казалось, нисколько не смутился, оправив пришедший в беспорядок свой парик, весело подмигнул Гансу, чтобы тот следовал за ним, и пошел к выходу с таким важным видом, что все придворные с серьезным уважением расступались, давая ему дорогу.

Ганс был умен не расспрашивать крестного о сцене во дворце, а тот был весел, напевал что-то себе под нос, болтал с молодым человеком, расспрашивал о новостях с родины и показался Гансу очень приветливым, милым, хотя несколько с причудами стариком.

Дома Лебенц снял парик и кафтан, распечатал письмо от своего кума Вредена и, вооружившись огромными очками, стал читать его, шевеля губами. Прочитав письмо два раза и подняв очки на лоб, он несколько минут, казалось, обдумывал что-то, а потом, пронзительно захохотав, вдруг бросился обнимать Ганса, бормоча:

— Дорогой, милый Ганс, как я рад, как я рад.

С этим же смехом он открыл дверь наверх и закричал:

— Марта, Марта!

Фрейлейн, стуча каблуками по лестнице, сбежала вниз и, запыхавшись, остановилась у двери, скромно потупив глаза. Она показалась Гансу менее бледной и еще более девочкой.

— Марта, наше желание сбылось. Приехал наш Ганс, и кум пишет мне, что согласен исполнить наш старый уговор. Правда, он пишет, что просит испытать сначала Ганса, но ведь он такой молодец, такой красавец, не правда ли? — И старик совсем захлебнулся от смеха.

Марта стояла, прислонясь к двери, не поднимая глаз и не улыбаясь.

Перестав смеяться, Лебенц сказал с какой-то странной гримасой:

— Фрейлейн Марта, господин Вреден просит

представить вам своего сына как жениха. Я тоже согласен. Подойдите и поцелуйте нашего милого, доброго Ганса.

Ганс совсем не ожидал подобного оборота дела, но не выразил ни одним жестом своего удивления. Марта тихо подошла к молодому человеку и, поднявшись на цыпочки, с опущенными глазами поцеловала его в самые губы.

— Ну, вот как хорошо, — с добродушным смешком сказал Лебенц. — Теперь все пойдет отлично. Фрейлейн Марта успокоится, наш добрый Ганс будет с нами. Но ведите себя благоразумно и целуйтесь только в моем присутствии. Я ведь не строг.

Затем он показал Гансу комнату в верхнем этаже, рядом со своим кабинетом и комнатой Марты, довольно большую, выкрашенную в голубую краску, с видом на сад и на Неву.

Несмотря на страшную усталость, Вреден, оставшись один, раньше чем лечь отдохнуть, записал кратко в свой дневник, который по завету отца он вел аккуратно каждый день с восьми лет:

«Лебенцы, отец и дочь, немножко чудаки, но приняли меня хорошо. Оказывается, папаша писал о моей свадьбе с фрейлейн Мартой. Она

еще девочка, слишком худощава, но это, как и странности, с которыми она меня встретила, надо думать, пройдут с летами, впрочем, надо разузнать хорошенько, богат ли Лебенц и имеет ли какое-нибудь влияние. Император был грозен. Он настоящий зверь, хотя очень величественен».

III

Ганс скоро привык к своим хозяевам и новому своему положению. Господин Лебенц почти весь день проводил в кабинете, куда к нему никто не допускался, сбегая только вниз для еды. Марта неслышными шагами ходила по дому, иногда заходя и в комнату Ганса; она была тиха, скромна, но приветлива, и никаких странностей Ганс за ней не замечал. После обеда иногда господин Лебенц говорил:

— Ну, детки, пойдите погуляйте.

Марта надевала шляпу с голубыми лентами, и Ганс, взяв под руку, тихо вел ее всегда по одной и той же дороге к Неве. Они садились на камнях у воды и смотрели на багровое от заката небо, отражавшееся в черной холодной реке, стремящейся к морю, мимо болот, недостроенных дворцов и бедных лачуг.

Ганс рассказывал о родине, которую Марта покинула нескольких месяцев от роду, иногда пел веселые студенческие песни и как-то не замечал, что спутница его почти не открывала рта, лишь отвечая коротко на вопросы и изредка улыбаясь своими тонкими, красными губами.

Однажды, когда Ганс рассказывал о веселых загородных гуляньях, на которых девушки танцуют под липами и которые нередко кончаются свадьбами или поединками, Марта, казалось, не очень внимательно слушавшая, вдруг перебила рассказчика на полуслове:

— А случалось вам кого-нибудь убивать, Ганс?

— Нет, фрейлейн, не приходилось, мы люди учтивые и довольствуемся, если удастся противнику отрезать кусочек носа, мы миримся за кружкой пива так же весело, как ссоримся.

— Ну а если бы пришлось защищать свою честь, свою жизнь, свое счастье, вы сумели бы? — нетерпеливо перебила опять Марта.

— О, поверьте, — самодовольно улыбаясь, ответил Ганс, — моя рука не дрогнула бы, и мой глаз настолько верен, что первый же удар нашел бы сердце врага.

— Куда же надо метить?

— Вот сюда. — И, увлеченный объяснением,

Ганс расстегнул жилет, взял руку Марты и приблизил ее к тонкой своей рубашке, чтобы девушка сама слышала сердце.

Марта так внимательно слушала его объяснения, такой жадный кинула взгляд на то место, где удар был бы самым верным, что Ганс невольно смутился, опустив руку невесты, стал застегивать жилет и больше уже не продолжал своих рассказов, так что они молчали до самого дома.

Только когда они уже поднялись по лестнице и стояли у двери, за которой был слышен смех господина Лебенца, очевидно занимающего какого-то гостя, Марта, схватив за руки Ганса, прошептала:

— Как я люблю вас, дорогой Ганс, как я люблю вас, — и быстро побежала наверх, щелкнув ключом в своей комнате.

Ганс постоял несколько минут, как бы ошеломленный, на площадке и потом тоже прошел наверх в свою комнату. Проходя мимо двери Марты, он нерешительно позвал:

— Марта, фрейлейн Марта. — Но никто не пошевелился за дверью.

Не совсем неопытный в любовных делах, Ганс должен был признаться, что неожиданное признание весьма взволновало его, и долго ему

пришлось шагать из угла в угол по своей комнате, раньше чем он несколько успокоился и пришел в себя.

Вымывшись холодной водой, Ганс уселся у окна читать, обходясь в сумерках еще без свечей.

IV

Отложив книгу, так как было уже совсем темно, Ганс сидел, не меняя позы и смотря на еще алевший последний отблеск холодного ясного заката за Невой. Признание Марты, намеки Лебенца о возможности возвышения, вся эта непривычная жизнь в дикой столице заставляли его крепко задуматься, и он не сразу ответил, когда тихо постучали в дверь. На вторичный стук он открыл дверь и удивился, увидев господина Лебенца в каком-то странном виде. Парик у него сбился, пот градом катился по щекам, он улыбался как-то смущенно и взволнованно.

Войдя в комнату, господин Лебенц быстро запер за собою дверь и заговорил шепотом:

— Ну, дорогой крестник, я пришел за вами, я знаю, что вы чужды пустых предрассудков, но все же поклянитесь мне исполнить все, чего потребует сегодняшний вечер, быть твердым, не

отступать ни перед чем и довериться мне вполне. Помните, что сегодняшний вечер может возвысить нас до такой высоты, о которой никогда и не мечталось вам, или погубить, если вы не будете решительны. Клянитесь.

— Клянусь, — тоже шепотом ответил Ганс, стараясь в темноте разглядеть лицо Лебенца.

— Ну, возьмите вашу шпагу и идемте. Дайте я поцелую вас.

Гансу показалось, что губы, целовавшие его, дрожали, но страх крестного делал его, наоборот, твердым и готовым на какой угодно подвиг или преступление.

Они спустились в круглую комнату второго этажа. Свечей еще не было, и только тлевшие в камине угли чуть-чуть освещали высокие ботфорты и темный камзол сидевшего в большом кресле гостя, лицо которого Ганс не мог разглядеть.

Господин Лебенц с обычной своей насмешливостью заговорил с незнакомцем по-немецки.

— Вот, сударь, позвольте представить вам господина Вредена, жениха фрейлейн Марты, с ним придется вам иметь дело.

Незнакомец заворочался в кресле и пробормотал сквозь зубы что-то по-русски. Потом он заговорил по-немецки, не совсем правильно и с

большим трудом подбирая слова.

— Чего же хочет господин Вреден?

— Все теперь зависит от него, фрейлейн Марта его, — сказал Лебенц.

— Ну, проклятые немцы, говорите скорей. Все отдам, последнюю шкуру спущу с себя, только скорее. Ну, ну…

Незнакомец встал. Он почти доставал до потолка головой и качался, как пьяный.

— Проклятое зелье. Ну, живо. Я же сказал, что все отдам, не обману.

Он покачнулся и захрипел.

— Скорее, скорее, все, целое царство отдам.

— Милые шутки, — засмеялся громко Лебенц и прошептал Гансу:

— Скажите, что вы не согласны уступить Марту.

Тот выступил вперед и заговорил голосом решительным и холодным:

— Сударь, вам угодно шутить, но бывают шутки, переходящие границы приличия.

— Я тебя! — зарычал незнакомец, разражаясь непристойной бранью и проклятиями.

— Потише, сударь, моя шпага усмиряла и не таких буянов, — перебил его Ганс.

— Ну, чего же ты хочешь? Я не могу больше.

Измучили вы меня, проклятые. — И незнакомец упал в кресло.

— Царство, — шепнул Гансу Лебенц.

— Царство, — твердо сказал Вреден и, нагнувшись к незнакомцу, разглядел его. Вид его был ужасен, глаза налились кровью, лицо потемнело, зубы оскалились.

— Берите же, — захрипел он, — где твоя бумага?

Лебенц вытащил бумагу, но раньше чем отдать ее, заговорил торжественно:

— Помните, сударь, это не шутка. Если бы потом подумали вы силой, или просьбами, или хитростью нарушить договор, вы будете наказаны смертью той властью, в силе которой, надеюсь, вы убедились и от которой не охранят вас никакие полчища земных воинов. Помните же это.

— Знаю, ладно, — ответил незнакомец.

Лебенц надел очки и прочел последние слова договора: «Если же не исполню по сему, предаюсь во власть Люцифера, сиречь дьявола, казнюсь злой смертью и душу обрекаю вечным мукам. Исполню свято. Аминь».

Лебенц передал незнакомцу бумагу и перо. Нагнувшись через спинку кресла, Ганс ясно разглядел, как тот прямыми латинскими буквами

подписал — «Petrus».

Взяв Ганса под руку, Лебенц вывел его на площадку и зашептал:

— Вы приведете фрейлейн вот в эту дверь. Вы должны заставить ее прийти и повиноваться. Она сумасбродная девчонка, смотрите, чтобы она не погубила нас. Я знаю, у ней нож, отнимите его. — И он быстро побежал наверх в свой кабинет. Ганс медленно поднялся за ним.

— Фрейлейн Марта, откройте, — постучал он в ее дверь.

Дверь тотчас открылась. Марта с распущенными волосами (Ганс в первый раз заметил странный золотой блеск их), в белом платье, со свечой в руках стояла на пороге.

— Милый Ганс, как я люблю вас, — выронив свечу, проговорила она и, высоко вскинув руки, обняла Ганса.

— Фрейлейн, я пришел за вами, — глухим голосом сказал Ганс, слегка отстраняясь от объятий, которые жгли его и наполняли тяжелым волнением.

— Я никуда не пойду. Я люблю вас, разве вы, мой прекрасный рыцарь, мой жених, не любите меня…

— Я пришел за вами, — повторил Ганс.

Марта молчала.

— Во имя вашей любви ко мне, — сказал Ганс.

— Во имя моей любви, — прошептала девушка.

— Я пойду, — громко сказала она, решительным движением выхватив тонкий, длинный нож, бросила его на пол и пошла по лестнице. Ганс следовал за ней. Он открыл дверь, указанную Лебенцем, и ввел девушку в большую комнату, посреди которой в темноте выступала под высоким балдахином на возвышении широкая кровать. Оставив Марту в темной комнате, Ганс прошел в круглую столовую. Петр сидел в кресле.

— Пожалуйста, — холодно сказал Вреден.

Петр встал и, шатаясь, пошел к двери, тяжело дыша. Ганс сам раскрыл перед ним дверь и сам закрыл ее.

Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Только через минуту раздался странный безумный крик, на который Ганс невольно сделал шаг, но, опомнившись, зашатался и упал на кресло.

Уже угли догорели в камине, а Ганс сидел неподвижно и в комнате было тихо. Наконец там зашевелились, хлопнула дверь, и кто-то быстро побежал по лестнице. Вспомнив предостережение Лебенца оберегать гостя, Ганс зажег свечу и вошел в комнату. На постели, раскинув руки, в

грязных ботфортах, с открытой волосатой грудью, с всклокоченными волосами, лежал император. Он хрипел. Ганс поднес свечу к самому лицу его, но тот не поднял тяжелых синих век. В ту же минуту из другой двери мелькнуло белое платье Марты.

— Что вы хотите сделать, — крикнул Вреден и схватил ее за руку.

— Пустите. Я убью его, и все будет забыто. Мы уедем далеко. Да, да, — зашептала она.

Вреден отпустил ее руку. Она минуту смотрела на спящего, потом обернулась к Вредену. Около рта ее была пена, глаза блестели, платье было разорвано, руки и шея обнажены.

— Куда вернее удар? — зашептала она, улыбаясь, как безумная. — Вот сюда.

Она поднесла руку к груди Вредена, несколько минут прислушиваясь, как бьется его сердце, и вдруг, быстро отдернув руку, другой ударила его прямо в сердце тонким, длинным ножом. Не крикнув, Ганс Вреден упал, и кровь, брызнув, потушила свечу, которую он крепко еще сжимал в руке.

Лежавший на постели хрипел и сквозь зубы бормотал во сне:

— Преображенцы, ко мне!

Март, 1910 г.
Парахино.

II

Пастораль

Мне минуло шестнадцать лет,
Но сердце было в воле.
Я думала, весь белый свет —
Наш бор, поток и поле.

Барон Дельвиг

I

Обогнув озеро, Катя пустила в галоп Красавчика и, промчавшись по деревне мимо собак, шарахающихся овец, ребятишек у ворот, проскакав под жарким еще, хотя и вечерним солнцем по желтому со снопами полю, только у опушки казенного леса стала сдерживать взмыленного коня. Алеша не поспевал за ней на упрямой пегой кобылке.

— Скорее, Алексей Дмитриевич, — кричала Катя. — Скорее, а то Красавчик не стоит совсем.

Алеша преодолел упрямство своей кобылки и вскачь взлетел на пригорок, где Катя, разрумянившаяся, с выбившимися из-под шляпы

волосами, в сиреневом развевающемся шарфе, на танцующем под ней Красавчике, как сиянием, освещенная низким солнцем, ждала его.

— Неосторожно ездите, Катечка. Разобьетесь когда-нибудь, — сказал Алеша наставительно, как старший.

— Ах, это было бы недурно: наш отъезд отложился бы, по крайней мере, — с полушутливым вздохом ответила Катя.

— А что мне тогда прикажете делать? Прострелить ладонь, как, помните, Юра пытался, когда его отправляли в ссылку?

— Милый Юра, где-то он теперь? Удалось ли ему завести новые переживания в его Териоках? Помните, как он был великолепно мрачен, когда уезжал? Впрочем, вы его, кажется, не очень любили, Алеша, — с лукавой гримасой спросила Катя.

— Нет, отчего же, он очень мил, только уж слишком занимал всех и все своей особой.

Молодые люди ехали шагом по узкой лесной дороге. Солнце боковыми лучами золотило стволы сосен. Приторный запах недалекого болота дурманил голову.

— Помните, как вы дулись, когда Юра только что приехал и дядя Володя в шутку намекнул, что это мой жених?

Молодой человек, не ответив, чуть-чуть улыбнулся и опустил глаза. Катя же пристально и вопросительно смотрела на него.

— Вы сердились тогда? — тихо спросила она после некоторого молчания.

— Нет, за что же, просто я хандрил. За что и на кого я мог сердиться, — недовольно дергая худыми плечами, говорил Алеша, не поднимая глаз, бледный, только слегка розовея.

Резко щелкнув хлыстом, сама покачнувшись от неожиданного движения, Катя пустила Красавчика во весь галоп.

— Катя, Катя, куда вы, сломите голову! — кричал Алеша.

Слабый голос его относило ветром; кобыла упрямилась; Катин лиловый шарф был уже далеко.

Так скакали они по пронизанному солнцем лесу, мимо красных полян, высокого копорского чая, мимо зеленого круглого озера, подымаясь на пригорки, спускаясь в долины: Катя — раскрасневшаяся, с сердито сдвинутыми крутыми бровями, с крепко сжатыми губами, Алеша — бледный, беспомощный, едва справляющийся со своей лошадью.

Успокоил ли быстрый бег Катино внезапное

раздражение, или она просто устала, или пожалела задыхающегося Красавчика, но, проскакав минут двадцать, миновав полуразрушенную часовню у святого ключа, откуда дорога становилась еще у́же, а лес темнее, она стала сдерживать разгоряченного коня, с галопа перевела его на рысь, а потом пустила шагом. Сорвав уже чуть-чуть покрасневший лист клена, медленно и задумчиво ехала Катя, когда Алеша догнал ее. Удивленно посмотрел он, слегка нагнувшись, на нее, и ничего не сказал. Несколько минут проехали они молча.

— Через неделю уж в Петербурге буду. У нас новый учитель физики, злюка, говорят, страшный, — первая заговорила Катя.

Алеша молчал.

— А на будущее лето мама хочет нас всех за границу везти. Так «Потонувший колокол» и не придется ставить, или, может быть, другая Раутенделейн найдется, — слегка поддразнивая, сама уже раздражаясь, сказала Катя, но Алеша опять промолчал, внимательно разглядывая дорогу, и через минуту Катя заговорила:

— А помните, как мы репетировали в беседке, какая гроза тогда была? Дядя Володя еще разулся и бежал босиком, чтобы не испортить своих ту-

фель. Как было это давно! Ведь всего месяц назад. Весело лето прошло в этом году. А прошлый год я вас совсем и не помню. Вы у нас «диким мальчиком» назывались.

— Да, быстро лето прошло, печально это, — промолвил Алеша тихо.

— Почему печально?

— Не знаю, мне всегда грустно, когда проходит. Весною чего-то ждешь, а потом незаметно и лето прошло, как будто что-то не исполнилось.

— Потонувший колокол.

— Может быть.

— Нет, я не долго лета жалею. Зимой интереснее: гимназия, по субботам такие веселые вечера у Горловых, в Мариинском театре часто бываем. Ведь у вас тоже не скучно.

Катя была спокойна и равнодушна.

— Вернемся, — сказала она.

Пустили лошадей рысью. Катя смеялась, когда низкие ветки задевали лицо, и изредка кричала Алеше:

— Вот наш священный дуб, листья-то как пожелтели; здесь тетя Аглая со змеем сражалась, помните? А грибов-то сколько!

Выехали на луг. Солнце низко склонилось к горе. Между кустов протекал ручей, журча по

камням.

— К нимфе, к нимфе, — закричала Катя и пустила Красавчика прямо по траве, не по-осеннему зеленой еще.

Около самого мостика, узенького, без перил, Красавчик вдруг заупрямился. Катя сильно ударила его хлыстом и едва удержалась, слабо вскрикнув, когда Красавчик вскинул задними ногами и потом метнулся в сторону. Быстро соскочил Алеша, бросив свою кобылу, подбежал к Кате и поймал потерянные наездницей поводья.

— Противный Красавчик, — пробормотала Катя, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы внезапного страха, и потом, еще не вполне успокоившись, стыдясь своего испуга, улыбнулась Алеше. — Я не думала, что вы такой ловкий.

А Алеша стоял перед ней, тоже улыбаясь сконфуженно, стройный от высоких сапог, без шляпы, с развевающимися волосами, обнажившимися — под упавшими рукавами рубашки — по-детски худыми в кистях и белыми руками, высоко держа за уздечку Красавчика, еще вздрагивающего и косящего налившимся кровью глазом, но уже покорного.

— Вы слезьте, а я переведу Красавчика по мосту, — сказал Алеша.

С молчаливой покорностью, опершись на Алешину руку, соскочила Катя. Алеша сначала Красавчика, потом свою кобылу перевел через ручей, привязал их к дереву и вернулся на другую сторону, где Катя, уже совсем повеселевшая, пила прямо из ручья.

— Я вам фуражку свою дам, — предложил Алеша.

— Не надо, так веселее и с нимфой же нужно поздороваться, — поднимая мокрое лицо, смеялась Катя.

— Нимфа, нимфа, нимфочка! Знаете, в детстве мы всегда у этого ручья играли в «нимфу», приносили ей жертвы, плели венки, устраивали праздники. Да вот она!

Тритон испуганно выскочил из куста, пробежал по желтому под прозрачной водой дну и, блеснув серой спинкой, спрятался под камень. Нагнувшись совсем низко к воде, Алеша и Катя увидели свои отражения. Он — выбившиеся косы, смеющиеся, слегка припухлые губы, длинные ресницы; она — тонкое лицо, внимательное и печальное, вышитый ворот рубашки, первым пушком черневшие улыбающиеся нежные губы.

Так несколько секунд рассматривали они друг друга, и Катя первая, быстро поднявшись, за-

кричала:

— Ехать, ехать, а то к ужину опоздаем. У нас воздушный пирог сегодня. Он ждать не будет.

Разбежавшись, она легко прыгнула через ручей и Алеша за нею.

Проворно вскочила Катя на лошадь, раньше, чем Алеша успел помочь ей, и поскакала в гору, к пламенно-синему закатному небу, в которое упиралась крутая дорога.

II

Пламенели настурции, отраженные в стеклах балкона. Тетя Аглая и лесничий Андронов ходили по усыпанной желтым песком круглой дорожке, около большой клумбы алых и белых осенних роз.

— Вы сами понимаете, Дмитрий Павлович, как неприятно все это нам. Я всегда говорила: за Катей надобен глаз и глаз. В гимназиях за чем смотрят? Верченые девчонки пошли. Вы знаете, как мы любим Алешу, но это наш долг, — восклицала тетя Аглая, высоко поднимая голову с коротко остриженными седоватыми кудрями. Полумужской одеждой, синими блестящими глазами, румяными обветренными щеками, рез-

кими движениями она походила на английского проповедника.

Андронов, маленький, рыжеватый, недовольно кусал бороду, рассеянно нагибался к цветам и, когда тетя Аглая возмущенно замолкала, сумрачно мямлил:

— Да, да, я приму меры, я поговорю. Вы правы.

— Дело не в мерах, а во взгляде на воспитание. Мы отвечаем за наших детей, — опять начинала Аглая Михайловна.

Солнце заходило за прудом; на лужайке бегали мальчики в розовых и голубых рубашках; Соня в длинных клетчатых чулках качалась в гамаке; из раскрытых окон гостиной доносилась музыка, на балконе накрывали ужин.

В чем-то убедила тетя Аглая сумрачного лесничего. Спустившись с пригорка, Катя и Алеша полным галопом влетели во двор, проскакали по кругу, обсаженному акацией, и, чуть не сбив с ног возвращающихся в дом Аглаю Михайловну и Андронова, осадили приученных коней у ступеней террасы. Катя быстро соскочила с Красавчика и бросилась к сидевшей на верхней ступеньке, в зеленоватом капоте, с желтой французской книжкой Марии Константиновне.

— Мама, мамочка, милая мамуся, останемся до

будущего воскресенья, — обнимая мать, кричала Катя.

Мария Константиновна с ленивой ласковостью улыбалась, поправляя сбившиеся Катины волосы.

Тетя Аглая гневно засверкала глазами.

— Разве вы не знаете, Китти, что в понедельник уже занятия начинаются? Вы за книгу целое лето не брались и прямо с дороги в класс. Хорошо ученье пойдет! Впрочем, об этом вы разве думаете.

Мария Константиновна, смотря на розовые облака, рассеянно улыбаясь, сказала:

— Милые дети, они так любят деревню!

— Да, деревню! — негодующим басом прогремела Аглая Михайловна, сурово взглянув на Алешу, смущенно перебирающего поводья лошадей, которых конюх еще не взял от него, и на Катю, обиженно надувшуюся.

— Идемте же, Дмитрий Павлович, я должна сказать вам несколько слов, — обратилась она к Андронову и строго вошла в комнаты. Андронов покорно поплелся за ней.

Несколько минут Мария Константиновна улыбалась, молча перебирая волосы нагнувшейся к ней Кати, потом вздохнула и опять взялась за книгу. Катя, прижавшись к коленям матери,

тоже молчала, и Алеша, постояв в смущении перед ними, уныло повел лошадей к конюшням. Отведя лошадей, Алеша медленно прошел в сад и стал ходить по круглой дорожке, задумчиво опустив голову.

— Алеша, что вы бродите неприкаянным? Идите ко мне!

Алеша вздрогнул от неожиданного голоса, огляделся и, подняв голову, увидел у окна мезонина Владимира Константиновича Башилова, который улыбался, куря тоненькую папиросу. Так радостно стало от этой ласковой улыбки Алеше, что сам он улыбнулся и с непривычной живостью ответил:

— Иду, Владимир Константинович, иду!

Пробравшись через заднее крыльцо, Алеша прошел по коридору и из-за притворенной двери услыхал негодующий голос тети Аглаи, читавшей вслух: «И так я его люблю, что жизнь бы отдала, кажется, а он и не знает и не чувствует. Как-то проживу без него целую зиму».

— Вы понимаете, о ком это она пишет? — прервав чтение, спросила Аглая Михайловна.

— Ужели вы думаете… — робко заговорил Андронов.

— Испорченная девчонка, — забасила тетя

Аглая, но Алеша уже подымался по темной лестнице, не слыша продолжения разговора.

— Можно? — робко постучался Алеша в дверь комнаты.

— Пожалуйста, пожалуйста, — не вставая от стола, за которым у открытого окна при зажженных уже свечах что-то писал он, приветливо ответил Владимир Константинович и, не переставая писать, улыбнулся вошедшему. — Сейчас кончу.

Алеша вошел, закрыл за собой дверь и остановился, оглядывая эту привычную и милую комнату с голубыми обоями, с розовой занавеской на широком окне, в которое видны были: круглая клумба с яркими георгинами, пламенное небо за прудом и желтым пригорком; эту комнату с полками книг, с глубокими прохладными креслами, с высокой старинной конторкой в углу, над которой дедушка Башилов в белом гвардейском мундире улыбался, будто подмигивая одним глазом; комнату, наполненную тонким ароматом духов, употребляемых дядей Володей, с розой в маленькой помпейской вазочке на письменном столике; комнату, в которой столько часов проводил он, то занимаясь вместе с Катей и Соней французским, то слушая в сумерках чтение

Владимира Константиновича или проходя с ним роль мастера Генриха.

Владимир Константинович кончил писать, запечатал конверт зеленым сургучом, потушил свечи, закурил папироску и прошелся по комнате.

— Хорошо вы скакали по полю с Катей! Так красиво ездить верхом. Высокие сапоги к вам идут: вы от них стройнее и мужественнее, пахнет от вас кожей и лошадью, будто казак какой-то, «тайный похититель дев», — медленно говорил Владимир Константинович, улыбаясь, думая о чем-то совсем другом.

Став у окна с темнеющим закатом, он замолчал.

Алеша тоже молчал и, смотря на дорогу, по которой недавно скакали они с Катей, мечтал о себе, каком-то другом, сильном, веселом, грубом, от которого пахнет кожей и лошадиным потом. Печалью и тревогой наполняли Алешу эти смутные мечтания.

— Ну что там внизу? — спросил Владимир Константинович, отворачиваясь от окна, громким и веселым голосом, будто стараясь отогнать свои тоже невеселые мысли. — Тетушка злобствует и тиранит?

— Да, Аглая Михайловна чем-то недовольна, — ответил Алеша.

— Злая девка, фантастическая, как у Достоевского то же про Аглаю сказано. Притом же старая дева, ну вот и развела куражи да интриги. Ведь вы главный виновник торжества, Алеша, — посмеиваясь, говорил Владимир Константинович.

— Я не знаю, чем я мог прогневить Аглаю Михайловну, — вдруг будто что-то вспомнив, что-то поняв, смущенно пробормотал Алеша, густо покраснев, что в сумерках, впрочем, не было заметно.

— Какой вы еще мальчик, Алеша, — серьезно сказал Владимир Константинович и быстро переменил разговор. — Хотите, почитаемте до ужина.

Он взял с полки маленький, хорошо знакомый Алеше томик Пушкина и, сев в кресло, рассеянно перелистывал его.

Мычали коровы на заднем дворе, кухарка ругала кучера, и звонко разносились ее слова по воде.

— А ты не лай, а ты не лай, — кричала она, не давая вымолвить слова своему собеседнику.

— Вы в Петербург едете, Владимир Константинович?

— Ах, Алешенька, ничего я не знаю, ничего я не

знаю! — задумчиво ответил тот и, закинув руки за голову, замолчал с раскрытым Пушкиным на коленях, в темных уже сумерках у открытого окна, а снизу, из гостиной, доносился высокий, детски-сладкий Сонин голос:

Мне минуло шестнадцать лет,
Но сердце было в воле.
Я думала, весь белый свет —
Наш бор, поток и поле.

— Не надо грустить, Алеша. Еще так много радостей, так много радостей вам, — сказал Владимир Константинович.

Алеша молчал. Соня допевала внизу:

Ни слова ни сказала я,
За что ж ему сердиться?
За что покинул он меня
И скоро ль возвратится?

III

Обманные августовские дни нежданным возвращением после дождливых, сумрачных вечеров, холодных закатов, снова ясного, словно

вымытого, неба, жгучего утреннего солнца, летней праздничной истомы манят воображение. Когда Алеша проснулся и увидел солнце на шторах, желтого зайчика на обоях, казалось ему, что не было вчерашнего тоскливого вечера, неприятных разговоров, тяжелых мечтаний, скорого отъезда; казалось, что лето еще только начинается, что много радостных и безоблачных дней, веселых прогулок, тихих вечеров ожидают его.

Алеша быстро оделся и, не умываясь, вышел на балкон. По-летнему было жарко, по-летнему застывшими стояли деревья, синело безоблачное небо, зеркалом блестело озеро, только слишком прозрачные дали с пригорками и селом, летом не видными, напоминали осень.

Из соседнего сада Алешу окликнул приват-доцент Долгов, гостивший у управляющего.

— Ну, сегодня и вы, надеюсь, не скажете, что холодно купаться. Идемте-ка, батенька, а то заспались совсем.

Он стоял, размахивая мохнатым полосатым полотенцем, рыжий, веселый, весь в солнце, и Алеше стало еще радостнее от его громкого голоса, раскатистого смеха, чесучевого пиджака, напоминающего, что лето не кончилось.

Не захватив с собой даже фуражки, Алеша

побежал догонять Долгова, который уже шел, подпрыгивая и напевая что-то. К купальне надо пройти всей усадьбой, расположенной вдоль озера. Кучера у конюшни мыли экипажи.

— Опять фестиваль какой-нибудь затевают наши ленд-лорды, — сказал Долгов насмешливо.

— На лихую кручу сегодня двинемся, — скаля зубы, приветливо раскланиваясь, закричал кучер Кузьма.

— На лихую кручу, лихую кручу, — басом запел Долгов.

В большом доме все шторы были еще спущены, и только Владимир Константинович в русской белой рубашке, голубых носочках и желтых сандалиях прохаживался в цветнике с маленькой, как молитвенник, книжечкой в сафьяновом переплете.

— От 10 до 11 господин Башилов изучает французских поэтов, от 11 до 12 — греческих, потом английских. После двух пишет любовные письма, а с трех деловые, то есть просит денег или отсрочки платежей. Замечательно пунктуальный человек. Только расходы свои с приходами никак не может свести. Посему томен и элегичен, — говорил Долгов, язвительно улыбаясь.

В купальне Долгов быстро разделся и, делая

французскую гимнастику, громким голосом поучал:

— Надо быть сильным и бодрым. Разве не высшая радость иметь здоровое тело, свежую голову, хороший аппетит? А то посмотрите на себя: ведь вы и не поправились за лето, а еще молодой человек. Стыдно, стыдно.

Алеша смотрел на его красную волосатую грудь, толстые обрубистые ноги, и ему уже не хотелось, как вчера вечером, быть сильным и грубым.

Со всего размаха бросился Долгов в воду, и она запенилась и зашипела от его тяжелых движений.

— Хорошо, — высовывая голову из-под воды, кричал он. — Отлично, замечательно, лезьте скорее, а то забрызгаю.

Такой большой, неуклюжий и красный, он казался маленьким мальчиком, на которого Алеша смотрел с пренебрежительной улыбкой, стоя на верхней ступеньке и только одной ногой пробуя холодную воду.

Алеша осторожно вошел в воду, окунулся и лег на спину. Солнце слепило глаза, и, зажмурившись, едва работая ногами, Алеша плыл, будто убаюкиваемый.

— Больше пяти минут вредно, — закричал

Долгов, взглянув на часы, положенные им на перила, и полез жестоко тереть себя мохнатым полотенцем.

Пока Алеша с ленивой медленностью одевался, Долгов ходил по купальне быстрыми шагами, курил, иногда начиная скакать на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду, набравшуюся в уши, и громыхал:

— В ваши 17 лет деревенские парни уже хозяева и часто мужья. А вы совсем мальчик, грудная клетка не развита, руки без мускулов. Какой вы мужчина, вас не только баба, любая девчонка пальцем задушит. Кстати, характерный анекдот. Знаете Лизку рыжую, девчонка ведь совсем, лет 16, и связалась она с нашим кучером Яковом. Василий Иванович поймал, как она в окошко на сеновал лезла; ну прогнал, конечно, а Якову нагоняй: как не стыдно, говорит, ведь она совсем девочка, а ты ее портишь. Яков смутился, чуть не плачет: «Она сама лезет, кто ее испортит. Я этим делом до сей поры не занимался, а она три года уж гуляет». Тут Василию Ивановичу был конфуз, а ведь Якову поди лет 20, здоровенный парень. Вот мужчины нашего века и женщины, их достойные.

Алеша, задумавшись, почти не слышал при-

ват-доцента, и только когда тот распахнул дверь купальни и закричал: «Довольно прохлаждаться, идемте простоквашу есть по Мечникову», — Алеша сорвался со скамейки и, быстро натянув рубашку, с кушаком в руках выбежал за Долговым на мостки.

Алеше хотелось идти домой и посмотреть почту; хотя писем особенно интересных он ждать не мог, но любил первым разобрать всю корреспонденцию, распечатать газеты, разрезать журналы. Долгов же почти насильно, взяв за плечи, втащил его в сад управляющего.

— Нечего, нечего, идемте простоквашу есть. Дали бы мне вас на недельку, вышпиговал бы здорово.

Двухлетняя Оля, в кисейном белом платьице, с голубыми глазами, с рыжими, как у отца, кудрями, голыми ножками, бежала, протягивая пухлые руки навстречу.

— Ну что, дофина? — поймал ее Долгов, взял на руки и понес, высоко подбрасывая, смеющуюся девочку к балкону.

— Далеко не ходи, смотри, — сажая в песчаную гору, где двоюродный брат Олин Сережа возводил сложные какие-то укрепления, сказал Долгов и пошел на балкон.

— Не пойду, я с Сереженькой буду, — картавя ответила девочка серьезно.

На обтянутом парусиной балконе сидели три дамы, все веселые, шумные и в капотах, — жена управляющего, ее сестра, жена Долгова и третья их сестра, акушерка, девица Говядина. Все они говорили разом, громко смеялись, и каждая сама себе наливала кофе из огромного медного кофейника, отчего на маленьком балконе было шумно и тесно.

— А, Алексей Дмитриевич, редкий гость, — заговорила мадам Долгова, — только и видим, что с окошечка, как на барский двор пробираетесь. За кем же вы ухаживаете — за Сонечкой или Катечкой?

— За Аглаей Михайловной, — громыхал Долгов.

— Нечисто тут дело, — ехидно запела жена управляющего, и за ней мадам Долгова и мадемуазель Говядина, и все три враз погрозили пальчиками.

— Ну, насели на парня, он и так робок, — закричал Долгов, чмокнул с утренним приветом всех трех сестер и потребовал простокваши.

Дамы заговорили вперебой о чем-то другом. Пришел сам управляющий, Василий Иванович,

еще молодой человек английской складки в полосатой кепке.

Долгов посолил простоквашу и заставлял Алешу есть из одного с ним горшка.

— Бардзо добже, — говорил он, громко чмокая и облизывая усы.

— На завтра назначен отъезд, — сказал Василий Иванович, улыбкой показывая золотые пломбы.

— Ну вот, хоть недельку отдохнем без призора Аглаи Михайловны, на свободе. Кстати, и погода теперь установилась, — заговорила мадам Долгова.

— Бабье лето, — с видом остроумца сказал Долгов, и все засмеялись.

На балкон вошел Сережа. Было ему лет восемь, вид он имел неприятный, мотался из стороны в сторону и гримасничал; шалости его всегда были злые и жестокие.

— Ну что, Сергиус, хочешь, простоквашей угощу, — сказал Долгов и протянул деревянную ложку, с которой капало на скатерть и в чашку Говядиной.

Сережа, ломаясь, подошел к столу, исподлобья взглянул на Долгова и, скривив губы, сказал тихо и равнодушно:

— Оля, как куст, горит, я не виноват.

Долгов, будто не слыша, переспросил: «Что?», — потом бросил ложку на стол, обрызгав Алешу простоквашей, и вскочил.

— Где? — хриплым шепотом спросил он и, не дожидаясь ответа на вопрос, побежал в сад; все вскочили за ним.

Алеша один, кажется, слышал апатичный Сережин ответ: «Там, у рябины», — и поэтому прямо свернул на боковую аллею хорошо известного ему сада.

Около красной рябины, на желтой дорожке увидел Алеша мигающее, движущееся пламя. В ужасе остановился Алеша, не понимая, что это идет к нему навстречу вспыхнувшая Оля, от дыма не могшая кричать. Несколько секунд прошло в полном молчании. Все, казалось, застыло, и только беспощадное солнце жгло, да тоненький синий язык пламени подымался от горевшей девочки. С другой стороны бежал Долгов; увидев огонь, он вскрикнул и, обжигая руки, бросился срывать платье с Оли. После крика Долгова закричали все. Откуда-то бежали женщины, кучера, мелькнули лица Аглаи Михайловны и Владимира Константиновича. Долгов стащил пиджак и, как обезумевший, мял, давил огонь всей тяжестью своего тела, хотя ему и кричали,

что он задушит Олю.

Какой-то парень вытащил перочинный нож, выхватил тлевшую еще Олю из рук Долгова и, разрезав платье, ловко содрал его с девочки.

Алеша стоял неподвижно у решетки; он чего-то не понимал, хотя ясно видел и слышал все: видел, как парень нес, держа обеими руками, что-то красное и отвратительное, что осталось от Оли; как мать девочки кричала на тупо гримасничающего Сережу: «Убийца, убийца, он ее сжег», — и потом повалилась на куртину с розами, а садовник сказал: «Цветочки изомнете; может, еще и отходится»; как Аглая Михайловна садилась в экипаж ехать за доктором.

Все наконец разошлись; только из дома управляющего несся протяжный стон, будто выла собака — это акушерка Говядина купала Олю.

Алеша остался один у решетки; на желтой дорожке тлела куча пепла и в стороне лежал рыженький локон, будто срезанный на память аккуратной и нежной рукой.

Все это продолжалось несколько минут.

Из дома управляющего кто-то крикнул:

— Принесите скорее аптечку из барского дома.

Алеша, вдруг выйдя из столбняка, перепрыгнул через забор и бросился к дому. На террасе встре-

тили его Соня и Катя, бледные, с распущенными волосами, в нижних юбках и ночных кофточках.

— Что, что такое случилось? — накинулись они на Алешу.

— Такой ужас, Сережа сжег Олю в саду. Она кричит, слышите? — и, вырвав аптечку из рук горничной, он побежал обратно.

Долгов, без пиджака, с обвязанными пальцами, согнувшись, быстро прошел, тупо взглянув на Алешу. На скамейке сидела мать Оли, облокотясь на Василия Ивановича, и не плакала, не кричала, но какими-то остановившимися глазами смотрела на Сережу, который спокойно занимался своими песчаными укреплениями.

Говядина с засученными рукавами деятельно распоряжалась и, взяв аптечку, закричала на Алешу:

— Что же ваты-то не принесли, тысячу раз говорить? Несите скорей!

Алеша опять бегом отправился к барскому дому. Алешу удивил обычный и спокойный вид самовара на террасе, расставленных аккуратно стульев и Владимира Константиновича, опять взявшегося за свою книжку.

— Ну, что там? — спросил Башилов равнодушно.

— Не знаю, — раздраженно дернул плечами Алеша.

— На вас лица нет. Вы не ходили бы больше туда. Все равно помочь трудно, — сказал Владимир Константинович.

— Ваты нужно.

— Я сейчас позвоню и пошлю горничную.

Они замолчали.

— С барышней плохо, — понижая голос, сказала горничная, входя.

Владимир Константинович вздрогнул.

— Я так и думал, — и быстро пошел в комнаты. Сам не зная зачем, Алеша пошел за ним.

В комнате девочек шторы были опущены. Соня, совсем одетая, стояла на коленях, со стаканом воды, перед неубранной кроватью, на которой лежала Катя, все в той же кофточке и нижней юбке. Ноги ее в черных ажурных чулках и желтых туфлях сводило судорогами. Глаза, полузакрытые ресницами, мутно блестели. Руками она будто не то отталкивала, не то привлекала к себе кого-то невидимого. Владимир Константинович нагнулся к ней и ласково погладил по голове.

— Катюша милая, не надо, не надо. Слышишь, не надо, — шептал он, как бы приказывая.

Судорога еще сильнее дергала все тело. На мгно-

вение Катя приподнялась даже, глаза широко раскрылись, потемневшие губы что-то шептали, но слов не было слышно из-за крепко стиснутых зубов. Вдруг одно слово тихо, но явственно произнесла она:

— Алеша, — и снова забилась.

Алеша стоял в ногах и смотрел, испытывая тот же ужас, что полчаса назад, в саду управляющего. Новым, незнакомым и вместе близким каким-то казалось ему это посиневшее лицо, закрытые, будто в странном томлении, глаза, запекшиеся губы, шептавшие его имя. Владимир Константинович встал на колени и, гладя бившиеся ноги, целуя извивающиеся руки, говорил что-то нежное и вместе повелительное. Алеше казалось, что он читал не то молитву, не то заклинание.

— Зачем вы здесь, этого еще недоставало! Сумасшедший дом какой-то, — гневно шипела Аглая Михайловна, ураганом врываясь в комнату…

IV

Владимир Константинович догнал Алешу на балконе.

— Ничего, Катя заснула, теперь ей легче будет. А вы идите домой, немножко отдохните. Не волнуй-

тесь, — говорил он и гладил Алешу так же нежно и повелительно, как минуту назад бившуюся Катю. — Не волнуйтесь. С девочками Катиного возраста это часто бывает. Невидимый жених их посещает, как сказано где-то. Идите домой, а потом надо будет всем куда-нибудь подальше отправиться, хоть на таинственное озеро.

Беспощадно жгло солнце. Полдневная застывшая тишина нарушалась только безостановочным заунывным стоном, несшимся из открытых окон дома управляющего. Шатаясь от слабости, стараясь убежать от этого стона, едва добежал Алеша, собирая последние силы, до дому. Захлопнув окно в своей комнате, спустил штору и, обливаясь потом, повалился на кровать.

Дмитрий Павлович позвал Алешу обедать. За столом они молчали. Отодвинув тарелку, Дмитрий Павлович прокашлялся и сказал:

— Я хотел с тобой поговорить, Алексей. Ты плохо смотришь. Такая неприятность сегодня. Потом еще с Екатериной Александровной это случилось. Видишь ли, я, конечно, понимаю, все это пустяки, но с другой стороны… Вы оба так нервны, это очень вредно и нехорошо. Ты не виноват, я тебя не упрекаю, но как-нибудь, понимаешь ли, надо держаться осторожнее, хотя, конечно, с другой

стороны…

Дмитрий Павлович запутался и закашлялся. Кухарка подала второе. Сбивчивы и мягки были слова отца, но, как хлыстом по лицу, ударяли они Алешу и, вместе с тем, непривычной беспокойной сладостью наполняли. Он то бледнел, то краснел и наконец сказал громко:

— Если хотите, папа, я перестану бывать там, но ведь вы сами меня посылали.

— Нет, зачем же совсем, только целый день напрасно торчать, а изредка… Вида не надо показывать, к тебе так мило относятся все, и Аглая Михайловна, — мямлил Дмитрий Павлович.

«Вот это что», — подумал Алеша и, странно успокоившись, принялся за курицу с рисом.

Заглушенный, ослабевающий, но непрестанный стон боровшейся еще со смертью Оли несся из дома управляющего.

— Барину и молодому барину велят гулять идти, — сказал, влезая прямо в столовую, кучер Кузьма.

— Хорошо, сейчас, мы сейчас, — засуетился Дмитрий Павлович.

Алеше была неприятна эта поспешность. «Перед хозяевами лебезит», — думал он и с преувеличенной медлительностью мыл руки, надевал

чистую рубашку.

— Алеша, я иду. Неловко заставлять себя ждать, — закричал Дмитрий Павлович.

— Хорошо, я сейчас, — ответил Алеша и, рассматривая в зеркало свое еще больше побледневшее за сегодняшний день, с кругами под глазами лицо, он помедлил немного, хотя ему уже хотелось скорее бежать и сердце падало и замирало от сладкой тревоги.

На террасе Аглая Михайловна в круглой с огромными полями соломенной шляпе энергично складывала ватрушки в корзину; Соня, тоже в шляпе, пела у рояля в гостиной, улыбаясь на слова румяного гимназиста Анатолия Корчагина, сына соседа-помещика. Туся и Муся, барышни Корчагины, чинно рассматривали альбомы за круглым столом. Сам Корчагин в светлом жилете и серых перчатках, седой, элегантный, пахнущий пачулями, прохаживался в цветнике с Марией Константиновной и, изящно жестикулируя, что-то рассказывал ей горячо и почтительно, на что дама в кружевной накидке, с маленьким китайским лиловым зонтиком улыбалась улыбкой королевы, уже отцветающей, но еще прекрасной.

Из липовой аллеи вышли Катя и Владимир Кон-

стантинович. Катя в голубом платье, соломенной шляпке шла, опираясь на руку дяди Володи, который говорил ей что-то и улыбался. Катя имела вид вполне спокойный, равнодушный и даже веселый. Только некоторая бледность лица, усталая томность в движениях и как-то необычно темневшие глаза напоминали о припадке.

Когда Катя увидела Алешу, будто легкая тень скользнула по ее лицу; может быть, это был луч солнца, прорвавшийся сквозь густую еще листву пожелтевших лип. Но сейчас же она успокоилась, и только легкий румянец появился на бледных, опавших щеках.

Владимир Константинович подозвал Алешу.

— Идите, разрешите наш спор, Алеша. Это касается и вас.

Алеша медленно подошел.

— Знаете, мы решили на Святках непременно поставить «Колокол», — заговорил Владимир Константинович оживленно. — Катя настаивает, что вам нужен белокурый парик, а по-моему, если вас только не слишком обкорнает инспектор, вам прекрасно остаться таким, какой вы есть.

— Нет, нет, — слегка даже дрожащим голосом перебила Катя, — нет, нет. Он должен быть белокурый, с голубыми глазами, бледный, как рыцарь

Грааля, святой и вместе грешный.

— Катечка, ты размечталась слишком. Вот что значит читать исторические романы в «Ниве», — посмеиваясь, сказал Владимир Константинович.

— Ну, ушли, ушли, — с балкона закричала, хлопая в ладоши, Аглая Михайловна, собирая разбредшихся гостей.

Было еще жарко. Компания разбилась на несколько партий, длинно растянувшись по желтому полю. Алеша шел с Катей и Владимиром Константиновичем. Почти всю длинную дорогу, не уставая, рассказывал Башилов о недавнем своем путешествии в Италию, о зимних планах, о петербургских знакомых, рассказывал весело, громко, стараясь, видимо, занять молодых людей, которые шли молча, не обращаясь друг к другу ни словами, ни взглядами.

Подошли к роще, березовой, чистой, печальной. Катя села отдохнуть на пенек. Веселая ватага, состоящая из Сони, Анатолия, барышень Корчагиных, детей, со смехом и гамом догнала их.

— Алеша, вам водить, — запятнав его, закричала Соня. Все бросились врассыпную, и волей-неволей Алеша был принужден бежать за ними.

Проводив глазами мелькавшую в кустах красную Алешину рубашку, Катя тихо спросила:

— Дядя Володя, вы влюблены в кого-нибудь?

— Что ты, Катенька, разве мы играем в фанты и тебе досталась роль исповедника? Впрочем, увы, я думаю, мои истории, несмотря на малую поучительность, известны всегда всем, — ответил Владимир Константинович, улыбаясь.

— Вы можете говорить об этом смеясь. Это так страшно, — вздрогнув будто от какой-то мысли, сказала Катя.

— Да, это страшно и таинственно, — серьезно заговорил Владимир Константинович. — Тебе еще рано думать об этом. А потом ты узнаешь, что можно улыбаться, быть счастливее всех на свете и через минуту убить себя, и все из-за любви.

— Почему же так страшно? — прошептала Катя тоскливо.

— Не нужно думать, главное, не надо думать. Все придет, когда будет нужно; все будет легко и радостно, хотя и страшно. Грех и мучительство только в одном, когда Афродита небесная не соединяется с земной. Когда же любишь человека всего, и улыбку его, и слова, и походку, и мысли, и тело, когда нет тягости одного только плотского влечения и вместе с тем бесстрастия простой дружбы, тогда все легко и чисто.

Так говорил Владимир Константинович, заду-

мавшись, будто про себя. Катя, затаив дыхание, слушала.

Солнце низко склонилось к березовой роще, на опушке которой они сидели; в кустах мелькали рубашки мальчиков и красная — Алешина; слышался веселый смех. По дороге медленно и торжественно выступали Мария Константиновна под руку с Корчагиным и тетя Аглая с Андроновым.

— Что это я расфилософствовался и совсем некстати? Впрочем, ты ведь почти взрослая, Катечка, и, наверно, сама много думала об этом. Да? — спросил Владимир Константинович, выходя из своей задумчивости.

— Да, дядя, думала, — тихо сказала Катя.

— Ну вот видишь, думать не надо. Еще придет все. Но если бы, Катечка, тебе было бы что-нибудь очень трудно, приходи ко мне. Многие говорят, что я не умел устроить своей жизни. Но, может быть, лучше многих устроителей я знаю, как радостно, страшно, мучительно и прекрасно жить и любить.

— Что, устала, Катечка? — спросила беспокойно Мария Константиновна, подходя со своим кавалером.

— Нет, жарко только очень. Вот выкупаться

бы, — ответила Катя, вставая и стараясь улыбнуться.

— Ну, что же, купайтесь, барышни, в озере, а мы, старички, поищем грибов. Не правда ли, Аглая Михайловна, рыжичков в сметане, хорошо? — засмеялся Корчагин, придавая словам своим тонкий, хотя и не совсем понятный вид двусмысленности.

Аглая Михайловна сурово отвернулась и прошла с покорным Андроновым вперед, за ними Мария Константиновна с Корчагиным и сзади медленно прошли Катя и дядя Володя.

За густым березняком как-то вдруг открылось большое, точно полное блюдечко, озеро. Низкие лесные берега его заросли осокой и камышами; вода тихо плескалась на желтом песке, переливаясь мягкими складками, будто голубой с розовым шелк.

Тетя Аглая распаковывала свои корзины. Дети таскали хворост для костра. Дядя Володя лег в траву, закинув руки за голову, и лежал недвижимо. Барышни собирались купаться. Алеша медленно бродил по берегу. В задумчивости шел он по узкой заросшей тропинке: она привела его на маленький мыс; здесь Алеша сел у самой воды и так задумался, что не слышал ни зовущих

его голосов, ни песен, которые неслись из далекого села на другом берегу озера; только когда сзади хрустнула ветка, оглянулся он. Рядом с ним стоял Анатолий Корчагин. Был он немного моложе Алеши, но рослее, румяный, белокурый, смазливенький, всегда улыбающийся. Улыбался он и сейчас, смотря, прикрыв ладонью глаза от солнца, на желтую отмель. Алеша взглянул на него и опять стал смотреть на воду, не сказав ни слова. Анатолий тоже молчал несколько минут, а потом зашептал:

— Посмотрите-ка на наших наяд — славные девчонки!

Алеша не понял его слов и приподнялся только после второго приглашения:

— Смотрите-ка, вот, как на ладони видно. Здорово!

Далеко блестела церковь села, по тихой воде доносился благовест, песни, а с отмели, в нескольких саженях от них, смех и плесканье.

В косых лучах низкого уже солнца, в камышах белели тела купающихся барышень. Только одна из них вышла из-за камышей и стояла, связывая волосы, на песке по колено в воде.

— Славная девчонка Катенька. Совсем готовая. Линии-то, линии-то каковы! — захлебываясь,

шептал Анатолий.

— Как вы смеете! — чувствуя, что холодеет и обливается потом, зашептал хрипло Алеша. — Как вы смеете!

Анатолий удивленно посмотрел на него и с улыбочкой сказал:

— Что ж тут сметь? Им убытка нет, а нам удовольствие, да и им приятно. Не думайте, нарочно ведь выставляются.

Совершенно неожиданно для себя Алеша вдруг размахнулся и звонко ударил по румяному, смеющемуся лицу Корчагина. Фуражка того упала в воду, сам он покачнулся и одной ногой сорвался с берега.

— За что вы деретесь? — плаксиво сказал Анатолий и полез доставать плавающую фуражку.

— Погодите, я еще вам! — вдогонку быстро уходящему Алеше грозил он, стоя в воде.

Алеша долго бродил между кустарников, то выходя к озеру, то опять забираясь в чащу. Темным смятением наполнилась его душа, и с безысходным отчаяньем вспоминал эту ужасную минуту, когда в блеске заходящего солнца на желтой отмели увидел он белое Катино тело, и было все ему отвратительно и чуждо: и ясный холодный закат за тихим озером, и улыбка Анатолия, и звонкий

удар пощечины, и даже она, неповинная Катя. Алеша невольно вздрогнул, когда совсем близко услышал голоса, зовущие его.

— Алеша, картошка поспела, — кричал Башилов и в ту же минуту вместе с Катей вышел из кустов.

— Где вы пропадали, природный меланхолик? — сказал Владимир Константинович и, взяв под руку, повел с одной стороны Катю, с другой — Алешу.

На полянке пылал костер; высоко поднимался прямой серый дым и красные, бледные в ясных сумерках языки пламени; за озером узкой холодной полосой догорал закат между зеленоватым прозрачным небом и голубоватой тихой водой озера.

Андронов сосредоточенно таскал пальцами картофелины из золы и передавал Аглае Михайловне, которая терла их салфеткой. Мария Константиновна сидела на бревне у воды, окруженная полулежащими Корчагиным, барышнями и детьми.

Анатолий в меланхолической позе лежал одиноко в стороне.

Напрасно Корчагин сыпал тонкими каламбурами и рискованными остротами, напрасно

барышни пытались резвиться и, взявшись за руки, прыгали через костер; как-то не удался пикник, было скучно и напряженно.

— Сыро как. Пора и домой, — сказала Мария Константиновна, вставая.

Все с облегчением стали собираться, быстро уложили корзину, залили костер и даже повеселели сразу.

Пошли быстро и деловито, не разделяясь на этот раз отдельными группами.

Туман поднимался из долин; на потемневшем небе, яркие и холодные, зажигались осенние звезды.

— Венера указывает нам путь, — сказал Башилов, указывая на зеленую мигающую звезду.

— Что? — вдруг переспросил Алеша, все время молчавший.

— Венера — звезда влюбленных, — с некоторой насмешкой повторил дядя Володя, оборачиваясь к Алеше, будто ожидая ответа, но тот ничего не ответил.

У ворот Андроновы остановились, думая прощаться.

— Зайдите чаю выпить с нами, — как-то неуверенно пригласила Мария Константиновна.

— Зайдите, Дмитрий Павлович, пожалуйста,

ведь последний вечер, — неожиданно обратилась к Андронову Катя, и сама, будто сконфузившись, быстро пошла к дому.

— Барышня зовет, нельзя отказываться, — засмеялся Корчагин.

— Да я ничего, только не стеснили бы, — мялся Дмитрий Павлович.

— Что вы, — суховато сказала Мария Константиновна и повела гостей к балкону. Пока накрывали в столовой, гости толпились в зале.

— Соня, спой, — сказала Катя, — ну, пожалуйста, милая, спой.

— Просим, просим, — хлопая в ладоши, закричал Корчагин.

Алеша вышел на балкон. Темно было, звездно и холодно. Отцветающие цветы пахли сильно. Соня опять, как вчера, начинала:

Мне минуло шестнадцать лет…

В освещенной двери балкона стояла в голубом платье Катя, пристально вглядываясь в темноту.

— Алеша, — тихо сказала она и сделала шаг.

Алеша пошевелился и издал неопределенный звук.

— Вы здесь? — спросила Катя и подошла совсем близко. Наступило молчание.

— За что вы побили Анатолия? — вдруг произ-

несла Катя.

— Откуда вы знаете? — с каким-то ужасом, вспоминая происшедшее, прошептал Алеша.

— Да я не знаю, Туся что-то рассказывала. — Катя тоже говорила шепотом и будто задыхалась.

— Туся рассказывала, а я ничего не знала, — бормотала она.

Катя замолчала и вдруг, вздрогнув, как в судороге, подняла руки, секунду помедлила и обвила ими шею Алеше.

— Милый Алеша, Алешенька, не могу без вас, — шептала она и неловко поцеловала Алешу пониже глаза.

Алеша не успел опомниться, как Кати уже не было.

Доносилось из залы:

Ни слова не сказала я,
За что ж ему сердиться?
За что покинул он меня
И скоро ль возвратится?

— Чай пить, — резко крикнула Аглая Михайловна в самых дверях. А где Катя? — подозрительно спросила она Алешу.

— Я не видел… — сказал Алеша и запнулся, — Екатерины Александровны.

— Екатерина Александровна, как важно, — с язвительностью подхватила Аглая Михайловна и даже сделала что-то вроде книксена.

— Чай пить, Алексей Дмитриевич.

Как в тумане представлялось все Алеше. Корчагин занимал общество, сам громче всех смеясь над своими остротами. Катя преувеличенно весело разговаривала с Анатолием, который обсох после своей ванны и оправился.

Дядя Володя сказал:

— Какой у вас измученный вид, Алеша, трудный день выпал.

— Ослаб молодой человек, — засмеялся Корчагин.

Алеша не смотрел даже на Катю. Только прощаясь, почувствовав, как дрожала в его руке холодная Катина рука, поднял он глаза на нее и неожиданно для себя улыбнулся.

— Прощайте, завтра увидимся еще, — сказал он и не узнал своего голоса.

— Завтра увидимся, — тихо повторила Катя, и бледная улыбка мелькнула на ее губах, а щеки покрылись красными пятнами.

Не слушая воркотни отца, Алеша улыбался в темноте, и было ему сладко и страшно чего-то.

Пока Дмитрий Павлович возился с непо-

слушным ключом, Алеша, опершись на перила балкона, смотрел на яркие холодные звезды, и губы сами собой шептали: «Милая Катя», — потом взгляд его упал на дом управляющего. Там было тихо и темно, только в одном окне за спущенной гардиной мелькал желтый огонек. Алеша понял, что это свечи у гроба Оли.

— Ну, спать, спать, — сказал Дмитрий Павлович, и, уже не помня ни Кати, ни всех событий длинного дня, будто охваченный каким-то туманом, прошел Алеша по темным комнатам, осторожно ступая на цыпочках, хотя в доме никого, кроме него и отца, не было.

V

Было опять, как вчера, ясное и солнечное утро, но уже лета оно не напоминало. Бодрой прохладой тянуло с озера, и еще прозрачнее стали дали. Летали осенние паутинки; от легкого ветра синело озеро.

Алеша проснулся поздно. Рано утром сквозь сон услышал он пение, вскочил босиком, отогнул занавеску, увидел блестящий на солнце белый гробик, который быстро пронесли к экипажу под заунывное пение священника и дьячка, потом

лег опять и заснул, ласкаемый снами, странными и сладко волнующими.

Когда Алеша вышел на балкон, было уже около двенадцати. Дмитрий Павлович в высоких сапогах и серой куртке торопливо кончал завтрак.

— Вот что, Алексей, — сказал он, — нужно было бы съездить, сад принять у Севастьяныча, а меня экстренно вызывают на кручу: порубка там случилась, и лесник ранен. Так, может быть, ты поедешь в сад? Дело нехитрое: сосчитай кучи, которые сложены уже, а полные яблони клеймом отметь, чтобы их не трогали. Да Севастьяныч не надует, больше для проформы это нужно. Так поедешь?

— С удовольствием, папа. Вот только кофе выпью, — ответил Алеша.

— Ну, отлично, — сказал Андронов и, вскинув ружье за плечо, пошел садиться в свой шарабанчик.

Какую-то вялость и слабость после сна чувствовал Алеша; слегка кружилась голова.

— Вот книги прислали с барского дома, — сказала кухарка, подавая кофе. Алеша лениво раскрыл газетную бумагу, в которую были обернуты два тома приложений к «Ниве». Рассеянно перелистывал он страницы, медленно глотая, как

лекарство, холодный кофе. Узкий, тонкий голубоватый конверт лежал между листами.

«Надо будет отдать, забыли письмо», — подумал Алеша и отложил конверт в сторону, даже не прочитав адреса.

— Баринок, а баринок, — из сада окликнул Алешу Севастьяныч, маленький, со спутанной бородой и веселыми глазами. — Баринок, ты, вишь, к нам на ревизию поедешь, так тебя девка моя перевезет, ты с ней кучи-то посчитай, а я тем часом забегу к Василию Ивановичу, а потом разом домой, чаем с медом тебя угощу. Мед здоровый в этом году уродился. Ладно, что ли?

— Ладно, — засмеялся Алеша, и стало ему весело и бодро.

— Погодку-то Бог дал, а уж осенью несет, — говорил Севастьяныч, спускаясь с Алешей к озеру.

— Лизка! — закричал он пронзительно. — Опять с кавалерами, шельма, где-нибудь лясы точит. Лизка, вези барина.

Но Лизка не точила лясы, а сидела на корме маленькой лодки, спустив ноги в воду.

— Я здесь, батюшка, — сказала она, вставая, отчего утлая лодчонка чуть не захлебнула воды.

— Тише ты поворачивайся, разиня, барина не утопи, — заворчал Севастьяныч.

— Зачем топить, — ответила Лизка и улыбнулась, показывая белые, как у хорька, зубы.

Алеша неловко полез в лодку. Севастьяныч подсаживал его.

— Чего зубы-то скалишь, помогла бы барину, — закричал он на смеющуюся Лизку.

Та быстро соскочила с кормы, схватила Алешу под руки, почти подняла его на воздух и осторожно посадила на единственную лавочку.

— Какая сильная у тебя дочка, — несколько сконфуженно сказал Алеша.

— Ну, с Богом, — промолвил Севастьяныч и столкнул лодку.

Стоя на корме, Лизка ловко работала одним веслом. Желтую юбку ее раздувало ветром. Рыжие волосы растрепались, и огромный красный цветок, кокетливо сунутый под розовую гребенку, колыхался над ее головой, как живой. Она не переставала улыбаться, щуря глаза от солнца, которое било ей прямо в лицо. Какой-то парень крикнул с берега:

— Ого-го-го, Лизка себе барина везет!

— А тебе завидно? — не смущаясь, ответила Лизка и засмеялась.

Алеша вдруг вспомнил, что это про нее рассказывал вчера Долгов, и покраснел.

— Вот вы, барин, и зарумянились немножко, а то бледненький такой, смотреть жалко, — сказала Лизка, перестав смеяться.

— Это от ветра, — бормотал Алеша, еще более краснея.

Она ничего не ответила, только усмехнулась и еще сильнее заработала веслом.

Желтые и розовые деревья яркой каймой окружали синевшее озеро. Солнце холодным осенним блеском заливало все: и красные строенья усадьбы, и далекое село на горе, и прозрачные рощи. В лодке наступило молчание. Алеша изредка поглядывал на свою перевозчицу, но, встречаясь с ее веселым взглядом, смущенно опускал глаза. Лизка, стоя на корме, в желтой раздувающейся юбке, в розовой кофте, рыжая, вся освещенная солнцем, ловко и сильно управляла юркой лодкой, иногда начинала мурлыкать себе под нос песню и, взглядывая на смущенного Алешу, усмехалась.

Сад Севастьяныча, расположенный на полуострове, подходил к самому озеру. Стройными рядами стояли веселые яблони, залитые солнцем. Сладкий запах мяты, меда и яблок несся еще издалека.

— Приехали, барин. Сейчас причалю, — сказала Лизка, сильными ударами весла разогнала лодку

на отмель, а когда та стала в нескольких аршинах от берега, выше колен подняла юбку и, соскочив в воду, одной рукой втащила лодку на берег.

— Пожалуйте, барин.

Она хотела опять помочь Алеше, но тот поспешно, хотя и не совсем ловко выскочил сам.

Молча обошли они сад. Алеша деловито сосчитал кучи, важно записывая их в записную книжку. Чтобы наложить клейма, понадобился вар. Лизка пошла отыскивать его в доме. Алеша снял фуражку и сел под яблоню. Ласково обдувало ветром; тяжелые ветки, полные румяных плодов, низко свешивались; между деревьев синело озеро; было тихо и жарко.

Осторожно ступая босыми ногами, подошла Лизка, будто подкрадываясь. Алеша вздрогнул.

— Не нашла вару-то. Придется обождать батюшку, со мной поскучать, — сказала Лизка тихо и насмешливо.

«Что ей нужно?» — досадливо подумал Алеша, глядя на ее круглое, с легкими веснушками, зеленоватыми прозрачными глазами, красными губами, лукавое и задорное лицо. Стараясь преодолеть свое смущение, он сказал громко, делано развязным тоном:

— Ну что ж, подождем. Отчего же вы не сядете,

Лиза?

Она, опустив глаза, улыбнулась и села совсем близко от Алеши. Он помолчал несколько минут и опять заговорил:

— Сколько вам лет-то?

— Семнадцатый на исходе.

— Замуж пора, — с шутливостью старшего сказал Алеша.

— Зачем мне свободу свою рушить-то, женихов-то сколько угодно, да мне ни к чему, на свободе-то лучше.

— Я думаю здесь скучно одной, да с отцом?

— Не всегда одна, гости приезжают, вот вы к нам приехали, а отца-то и нет, — сказала Лизка и громко засмеялась.

— Яблочков бы покушали. — Она встала на колени, совсем почти касаясь Алеши, и тряхнула яблоню. Яблоки посыпались дождем.

— Вот это сладкое будет, — выбрав большое, как воском налитое яблоко, сказала Лиза и подала Алеше. Она коснулась его руки своей, нагнулась совсем близко, алые губы ее улыбались. Какое-то непривычное веселье овладевало Алешей, было ему любопытно и чуть-чуть жутко.

— Сладкое? — спросила Лизка, нагнувшись к самому лицу Алешиному.

— Сладкое, — ответил тот, чувствуя, что кружится голова, темнеет в глазах и дрожь охватывает тело.

— Сладкое? — повторила Лизка и, нагнувшись еще ниже, шепча: — Миленький мой, хорошенький, — целовала, не отрываясь, губы, глаза, шею около полурасстегнутого ворота рубашки, смеялась и обнимала сильными своими руками ослабевшего Алешу.

В последний раз мелькнуло в глазах Алешиных синевшее озеро, далекая красная крыша усадьбы, что-то вспомнилось, хотел он оттолкнуть крепко прижавшуюся к нему всем телом Лизку, но вместо того сам прижался к ней еще ближе.

Было жарко и тихо; сладко пахло мятой, медом и яблоками.

— Батюшка едет. Вот попались бы, — зашептала Лизка и быстро, как кошка, вскочив, поправила юбку и сбившиеся волосы.

— Оправься, барин, а я побегу самовар ставить. Прощай, миленький, красавчик мой. Ужо еще. — Жадными сильными губами она поцеловала Алешу и, что-то напевая, побежала к дому, мелькая между яблонями желтой юбкой и розовой кофтой.

Алеша так и остался сидеть в растерзанном

виде; голова была тяжелая и мутная, во рту пересохло. Машинально взял он закусанное, поданное давеча Лизкой сладкое яблоко и лениво жевал его. Севастьяныч быстро приближался на своей душегубке и что-то кричал приветственно. Алеша встал, нашел кушак, завалившийся в траву, привел себя в порядок и пошел к озеру.

— Заработались, баринок? Вишь, вспотел даже. Ничего, воздух у нас легкий, пользительный, — говорил ласково Севастьяныч, привязывая лодку. — Ну, теперь идем пить чай. С устатку, это хорошо.

Пили чай в душной светлой горнице, Севастьяныч угощал медом и длинно рассказывал что-то. В окна блестело солнце и синее озеро между деревьев. Яблоки были на столе, кучей в углу, свешивались в окно, приготовленные для сушки лежали перед домом на лужке. Лизка, стуча пятками, прислуживала быстро и скромно и только, выходя в сени, мурлыкала:

— Милок мой ненаглядненький, сладкий, как леденчик.

Алеше было стыдно и жарко.

Вару не оказалось и у Севастьяныча.

— Ах, грех какой, совсем из головы вон. Уж ты, Алексей Дмитриевич, прости ради Христа.

Придется еще раз тебе к нам в гости приехать. Пирогов с медом напечем, угостим тебя за хлопоты, — говорил он Алеше, обрадовавшемуся, что можно ехать домой.

— Да ты погоди, яблочков возьми на дорогу, папашеньке свези, — хлопотал Севастьяныч.

— Нет, нет, надо скорей ехать, — твердил Алеша и чуть не бегом направился к озеру. Лизка была уже в лодке и дырявым ковшом отливала воду.

— Ну, Лизка, вези барина, а сама на берег ни ногой. Я еще с тобой за старое посчитаюсь, потаскушка поганая, — напутствовал Севастьяныч сурово.

Поплыли молча. Лизка сосредоточенно работала на корме. Алеша сел лицом к носу, к ней спиной. Чем ближе подступал берег с белой купальней с красной крышей в желтых листьях парка, тем страшнее становилось Алеше, и в первый раз за сегодняшнее утро вспоминал он вчерашнее.

Падало сердце в мучительной, безысходной тоске.

— Хоть бы платочек на память мне подарили, — сказала вдруг Лизка.

— Да, да, хорошо, непременно, — испуганно забормотал Алеша, и хотелось броситься в воду,

только бы убежать от Лизки.

Помолчав еще, уже у самого берега Лизка сказала тихо:

— А может, еще когда… уж как бы я вас любила, миленький мой!

Не дав лодке пристать как следует, Алеша прыгнул на берег и быстро, не оборачиваясь, пошел к дому.

VI

Дмитрий Павлович сумрачно ходил по балкону.

— Тебе письмо от Екатерины Александровны, кажется, мог бы хоть не разбрасывать, — досадливо сказал он, указывая на голубоватый узкий конверт, оставленный Алешей на столе перед отъездом.

Не беря еще письма, Алеша нагнулся и, прочитав, не сразу понял, что было написано этими крупными, по-детски правильными буквами: «Алексею Дмитриевичу Андронову».

Дмитрий Павлович сердито вошел в комнаты. С каким-то страхом взял письмо Алеша и, пройдя в свою комнату, долго еще умывался, для чего-то переоделся в чистую рубашку, тщательно при-

чесался, прошелся несколько раз по комнате, потом быстро подошел к столу и так резко рванул конверт, что разорвал вместе с ним и тонкую голубоватую с веночком страничку самого письма. «Посылаю Вам книги, за которые очень благодарю». Затем несколько строк было зачеркнуто. «Я не знаю сама, как и когда это случилось, но я люблю Вас, милый, дорогой Алеша. Вы не знаете, не знаете, а я не могу даже представить, как проживу без Вас целую зиму. Приходите сегодня пораньше.

Ваша Е. Д.».

Отуманенные Алешины глаза, пробежав несколько раз по этим строчкам, долго не могли уловить смысла их. Только взглянув в окно на синевшее вдали озеро, на далекий противоположный берег, у которого чернела лодка и в ней желтым и розовым пятном юбка и кофта уезжающей Лизки, понял Алеша и записку, и то, что случилось вчера, и то, что сегодня.

— Как же это так, как же это так? Что теперь будет? — почти вслух растерянно бормотал Алеша.

— Алеша! — крикнул за дверью Дмитрий Павлович. — Алеша, я иду прощаться. Через полтора часа они уезжают. Ты идешь?

— Сейчас, — тихо ответил Алеша, — сейчас

иду.

Еще раз взглянул на голубоватый листик с веночком, на тонкую подпись «Ваша Е. Д.», потом в окно на озеро, где лодка была уже почти не видна, и, дрожащими от слабости руками взяв фуражку, Алеша вышел из комнаты.

На террасе, под руководством Аглаи Михайловны, кучера связывали последние корзины и чемоданы.

Владимир Константинович ходил по аллее под руку с сестрой, и они о чем-то озабоченно говорили.

Когда Алеша подошел, они замолчали.

— Ах, это вы, Алеша, где же вы пропадали целый день? Барышни хотели на прощание верхом покататься, а вас не было, — с какой-то печальной ласковостью глядя на Алешу, говорила Мария Константиновна. — Ну, идите к девочкам, помогите им букеты связать, они в цветнике.

— А потом, Алеша, зайдите ко мне. Я хотел вам книги французские оставить, — сказал Башилов.

— Ты с ним поговори помягче. Мне так жалко, так жалко. Бедные дети! — понизив голос, сказала Мария Константиновна брату и пошла к дому.

В цветнике, у круглой большой опустошенной клумбы сидели на траве Соня и Катя, разбираясь

в куче срезанных пламенных георгин, нежных астр и других осенних ярких цветов. Обе они были в коричневых форменных платьях с черными передниками, в гладких прическах с косами, и какими-то незнакомыми, почти чужими показались они Алеше.

Катя испуганно взглянула на Алешу и рассыпала цветы, которые связывала.

— Катя, ты все цветы помнешь, — сказала Соня.

Алеша молча поздоровался.

— Куда вы запропастились сегодня? — спросила Соня, а Катя, низко опустив голову, собирала рассыпавшиеся цветы.

— Папа просил меня съездить сад принять у Севастьяныча, — с большим трудом выговорил Алеша.

— Ах, Севастьяныч? Это такой маленький, кудластый, мы у него как-то дождь пережидали на пасеке и чай пили. Помнишь, Катя? У него такая дочь рыжая, и Юра за ней принялся ухаживать; помнишь, еще рассказывал ей, что он князь, — смеясь, говорила Соня.

Алеша густо покраснел.

— А вот из этого я вам венок сплету, — собирая остатки цветов, сказала Соня.

— Барышни, батюшка пришел молебен служить, — закричала из окна горничная.

В полутемной зале с завешенными картинами, с мебелью в чехлах горела лампадка перед образом; священник, прокашливаясь, надевал ризу, дьячок раздувал кадило; багряный закат бил в окна.

Пока в сумерках нараспев читал батюшка молитвы и дьячок басом подпевал, размахивая кадилом, от которого синим сладким туманом наполнялась комната, казалось Алеше, что что-то страшное совершается; вспомнил он утром виденный белый гробик, который этот же священник провожал, вспомнил вчерашнее утро, пылающую Олю, только Катю не вспоминал, и, увидев совсем близко ее бледное лицо, тонкую шею с голубыми жилками в белом кружевном воротничке, он удивился чему-то.

Катя вздрогнула и подняла глаза на Алешу.

— Господи, дай, чтобы этого не было, — как в детстве прошептал Алеша и перекрестился, но в ту же секунду вспомнил он и другое: и блестящее синее озеро, и далекий благовест, и смеющегося Анатолия, и белевшие в кустах тела, и как яркая молния мелькнули улыбающиеся губы, рыжие растрепанные волосы.

— Господи, — так громко прошептал Алеша, что все оглянулись на него, а Аглая Михайловна сердито заговорила на ухо Андронову.

Молебен кончился. Владимир Константинович взял Алешу под руку.

— Пройдемте ко мне на минутку, — сказал он.

Алеша не узнал милой привычной комнаты дядя Володи. Со стола и полок все было убрано, ящики комода раскрыты, мебель сдвинута; в мрачных сумерках все это имело вид чужой и враждебный. За озером погасала холодная заря.

Башилов закурил папиросу и прошелся по комнате.

— Вот разорено наше убежище, — сказал он. — Я вам несколько книг оставляю, Алеша. Вы хотели заниматься французским, а мне не нужны пока; на Рождество с нашими пришлете.

— А разве вы сами не приедете? — с беспокойством спросил Алеша, будто только сейчас поняв близость разлуки, близость окончания этого радостного лета.

— Я никогда не знаю, что со мной будет через час, а не только через полгода. Ведь это так еще далеко.

— Да, далеко, — уныло повторил Алеша.

Владимир Константинович помолчал, про-

шелся по комнате и, остановившись, вдруг заговорил:

— Вы знаете, вчера вечером у Кати опять был припадок. Я знаю, как неприятно и бесполезно вмешиваться в чужие дела, но ведь вы верите, что я люблю и вас, и Катю. Мне хотелось бы, чтобы вам было легко и радостно. Я хотел, как ваш друг, как близкий Кате, посоветоваться с вами, как бы успокоить Катю. Ведь это ужасно?

— Ужасно, ужасно, — с тоской прошептал Алеша. И опять мелькнули алые губы, белое тело на желтом песке, и он не понимал уж, где Катя, где Лиза.

— Ведь вы тоже любите ее? — откуда-то издалека доносился голос Башилова. — Любите ее, правда?

— Не знаю, не знаю ничего, — задыхаясь от слез, бормотал Алеша. — Я ничего не знаю, не понимаю.

— Ну, успокойтесь, не надо так. Бедный мальчик! Измучились вы. Не надо, все будет хорошо. Милый Алеша, не надо, — ласково и повелительно говорил Владимир Константинович и нежно гладил Алешу. В дверь постучали.

— Чай пожалуйте кушать. Лошадей сейчас подают, — сказала горничная.

— Ну, не надо больше, Алеша, успокойтесь, — еще раз повторил Башилов и, как больного, осторожно повел Алешу по темной лестнице вниз.

— Ах, да, книги-то я и позабыл, — сказал Башилов, входя в залу. — Сейчас принесу.

И он легкими, быстрыми шагами побежал по лестнице.

Зала освещалась одной свечой у рояля. Катя, нагнувшись в углу у этажерки, разбирала какие-то тетради. Алеша не сразу заметил ее.

Увидев Алешу, она несколько секунд продолжала разбирать тетради, потом, беспомощно опустив руки, прошептала:

— Алеша!

Алеша вздрогнул.

— Алеша, я не могу больше. Сейчас мы уедем. Так долго не увидимся. Не забудьте меня, Алеша, милый.

— Нет, нет, — бормотал тот, почти с ужасом глядя на эту тоненькую девочку в коричневом платье и черном фартуке.

— Алеша, я готова для вас все, все, что хотите. Все эти длинные дни в разлуке я буду думать только о вас, милый Алеша.

Она протянула к нему руки и сделала шаг впе-

ред. Алеша отступил.

— Нет, нет, не надо, — задыхаясь, бормотал он.

Башилов быстро вошел в комнату и весело заговорил:

— Вот и книги. А ты роль свою не забыла уложить, Катя? Смотрите, Алеша, учите и вы свою. С двух репетиций поставим. Я художника знакомого привезу, он нам декорации напишет.

— Катя, поди-ка сюда, что я нашла! — закричала Соня из далекой комнаты. Катя медленно, не глядя на Алешу, вышла.

— Ну, Алеша, будьте мужчиной. Приободритесь, — сказал Владимир Константинович.

— Чай пить, чай пить скорее. На поезд опоздаем, — громыхала Аглая Михайловна в столовой. — Кучера, забирайте вещи!

Пользуясь суматохой, Алеша отыскал свою фуражку и, крепко прижимая книги, вышел из дому. У ворот уже стояли экипажи, и верховой с смоляным факелом гарцевал на пригорке.

Медленно шел Алеша вдоль озера. Поднимался белый туман над водой, и в открытые ворота скотного двора была видна полная желтая луна, подымающаяся из-за конюшен между голых унылых ветел.

Сентябрь, 1910 г.

С.-Петербург.

Веселые святки
I

Накануне отпуска, перед последним уроком Косте Рудакову подали письмо. Войдя в класс, он надорвал узкий конверт и вложил розовый тонкий листок, пахнущий незнакомыми духами, во французскую грамматику.

«Милый Костя! — писал Алексей Рудаков почерком неровным и торопливым. — Милый Костя, как было условлено, заезжай ко мне в пятницу около трех; хотя не знаю еще, поеду ли, но видеться нам необходимо. Если же дома меня не застанешь, поезжай один и помни своего несчастного, любящего тебя брата Алексея.

P. S. Ради Бога прямо из училища заезжай к тетке Alexandrine и вымоли у ней для меня 300 или хоть 100 р. Скажи, что без крайности я не обратился бы к ней. Купи также, если успеешь и достанешь денег, конфект и коробку фруктов в шоколаде — Шура их любит».

Пока вертлявый француз Куже весело щебетал, рассказывая, для упражнения в разговорном языке, какой-то сомнительного качества анекдот, а

весь класс, как по команде, громыхал, Костя перечел несколько раз это письмо, которое удивило и взволновало его. Костя хорошо знал характер Алексея, легкомысленный и фантастический, давно привык к постоянным и запутанным его приключениям, но противоречия и недомолвки письма все же неприятно поразили его.

О том, чтобы ехать с братом на рождественские каникулы в деревню дальних родственников их Кургановых, Костя мечтал с самой осени; просить денег у тетки было неприятно, и, наконец, приписка о Шуре чем-то не нравилась Косте, а главное, полная неуверенность и что-то скрываемое братом наполняли Костю смутным сомнением. Он боялся за Алексея и досадовал на него.

Длинным казался Косте последний день перед отпуском, который он провел в томительном ожидании, то возвращаясь беспокойными мыслями к странному письму Алексея, то мечтая о снежных полях, далекой поездке на тройках, милых деревенских праздниках, причем во всех этих картинах неизменно, хотя несколько в стороне, воображение рисовало ему черненькую, с быстрыми глазами кузину Шуру, нежная, глубоко скрываемая память о которой не изгладилась

двумя годами разлуки.

Проснувшись спозаранку, Костя едва дождался желанного часа, рассеянно перецеловался с товарищами и, захватив небольшой свой чемоданчик, почти бегом спустился с лестницы.

Хотя Костю и тянуло заехать узнать все об Алексее, но, рассчитав, что времени остается очень немного, он направился на далекую линию Васильевского острова, где издавна проживала tante Alexandrine, генеральша, «выживающая из ума старая дура» — как отзывался о ней собственный брат ее, Петр Алексеевич Рудаков.

День был солнечный и морозный. Праздничная толпа наполняла Невский, и на синем небе сиял далекий шпиц Адмиралтейства.

Радостным волнением наполняли Костю и быстрый бег санок, и солнце, и мороз, и оживленная толпа у Гостиного Двора, и мысль о двухнедельной свободе в любимом с детства Курганове. И даже свидание с теткой и неизвестность относительно Алексея не подавляли его.

Только входя в темную переднюю с какими-то сундуками, наполненную неприятным запахом нафталина, никогда не проветриваемых комнат, собак, которых генеральша держала множество, — Костя недовольно поморщился.

Tante Alexandrine встретила его в гостиной и недовольным басом спросила:

— Кто такой?

Уже лет десять она не узнавала и путала своих племянников, внуков, родных, двоюродных и прочих.

— Рудаков Константин, — ответил Костя.

— Да ты не Марьин ли сын? — все еще сомневаясь, спросила старуха.

— Да, ma tante.

— Не помню, не помню. Много вас, где всех запомнить.

Она сунула племяннику руку в шерстяной перчатке, впечатление о которой, самое неприятное, сохранилось у Кости с детства, и спросила менее сурово:

— Мать здорова? Ты вырос. Чаю хочешь?

Костя отказался от чая и осторожно передал просьбу Алексея. Когда Костя упомянул о трехстах рублях, генеральша сделала вид, что вовсе ничего не слышит, и громким басом позвала:

— Ракетка, Ракетка!

Маленькая злая собачонка выскочила из соседней комнаты и стала лаять на Костю, заглушая его слова.

— Молчи, цыц, Ракетка! — кричала генераль-

ша.

Когда собака успокоилась наконец, Костя робко сказал:

— Может быть, ma tante, если вам неудобно дать 300 рублей, то хоть 100 вы дадите. Алексей в ужасном положении.

Генеральша пожевала губами и в задумчивости произнесла:

— Сто, сто рублей, большие деньги.

Но все же встала, подошла к старинной конторке в углу, вытащила большой ключ из-под кофты и со звоном открыла один из ящиков.

Костя тоже встал, уже почти уверенный в успехе.

Тетка долго перебирала какие-то портфельчики, бювары, бумажники, наконец вытащила смятую, потертую сторублевку. Она посмотрела ее на свет, разложила на столе и тщательно стала разглаживать, задумчиво повторяя:

— Сто рублей большие деньги, большие деньги.

Костя собирался благодарить, как вдруг генеральша сунула сторублевку в конторку с живостью, несвойственной ее возрасту, захлопнула крышку и заговорила оживленно:

— Погода сегодня, мой друг, холодная? Да? Я

говорила, Ракетку нельзя сегодня гулять пускать. Теперь кашлять будет.

Обескураженный Костя поспешил откланяться.

«Старая идиотка», — думал он, садясь в сани, и велел извозчику ехать на Конногвардейский.

Дверь на звонок Кости открыли не сразу.

— Алексей Петрович дома? — спросил Костя.

— Не знаю, ваше благородие. Сейчас спрошу, — смущенно как-то ответил денщик и, осторожно ступая, будто боясь кого-то разбудить, пошел через столовую к дверям кабинета.

В светлой передней Костя увидел на вешалке зеленую бархатную шубку, и теми же духами, что от письма, пахнуло от нее.

Костя слышал, как денщик шептал что-то в дверь кабинета, и голос Алексея, наконец, громко и раздраженно ответил:

— Попроси обождать.

— Где-с? — спросил денщик испуганно. — Ну где?

— В столовой, болван! — отвечал Алексей из-за двери.

Квартира Алексея состояла из трех комнат: кабинета, спальни за ним и столовой, через которую был единственный выход из задних комнат.

Костя понял смущение денщика и сказал ему:

— Пойди спроси, может, мне заехать позднее? Только узнай, когда, скажи, что поезд уходит в половине шестого.

Но в это время дверь растворилась и вышел сам Алексей. Он был бледен, в пунцовой шелковой рубашке, глаза его блестели. Он обнял брата и заговорил по-французски:

— Прости меня, но я очень прошу тебя обождать немного. Не будем же мы говорить о том, что удобно или неудобно, в часы, когда сама честь, сама жизнь поставлены на карту. Ты будешь мне нужен.

Он еще раз поцеловал Костю и быстро, легко покачиваясь, вошел в кабинет, плотно затворив за собой дверь.

Денщик помог Косте раздеться и шепотом сказал:

— Барышня у них.

— Это не твое дело! — резко оборвал Костя и сел у окна в столовой, глядя, как морозная заря синим пламенем заливает ясное небо.

В кабинете говорили тихо, так что только изредка доносились отдельные слова да шаги Алексея. Костя беспокойно взглядывал на часы почти каждую минуту. Было уже начало пятого.

«Неужели не уедем сегодня? Хоть одному бы ехать», — досадливая мысль мелькала у Кости. Он встал и тоже прошелся по комнате.

Вдруг дверь полуоткрылась. Высокая дама в большой черной с белыми перьями шляпе стояла на пороге, держась за ручку.

— Это последний срок? — донесся хриплый голос Алексея.

— Если хотите, но я предупреждаю, что это ни к чему не приведет. Свои решения я редко меняю, вы это знаете, — ответила дама совсем спокойно и, застегивая перчатку, прошла в переднюю.

Костя растерянно поклонился ей и не знал, пойти ли ему помочь одеться даме или войти в кабинет, где наступила полная и зловещая тишина. Стоя посередине столовой, он видел, как дама с помощью денщика оделась, и когда она перед зеркалом, которое было видно Косте, поправляла шляпу, ему казалось, что она улыбнулась. Неторопливо вынула дама из кошелька двугривенный, отдала его денщику и, не оглядываясь, вышла.

Костя вошел в кабинет.

Алексей сидел у письменного стола, перебирая какие-то безделушки.

— Если ехать, Алеша, так уж пора, — робко

сказал Костя.

— Да, да… Какое сегодня число? — рассеянно проговорил тот.

— Сегодня? — повторил Костя и машинально поднял глаза ни календарь, висевший на стене. Листочки на календаре были оборваны до 27-го декабря, и большой крест, сделанный синим карандашом, зловеще сплетался с праздничными красными цифрами.

— Что это? — с невольным страхом воскликнул Костя.

Алексей обернулся к календарю, странная улыбка скривила его губы, казалось, он готов был заплакать.

— Ничего, ничего, еще пять дней осталось, пять дней, — прошептал он; прошелся по комнате и закричал:

— Ну, едем, Костик, едем! Эй, Иваненко, скорей чемодан укладывай.

Алексей шумно распоряжался, хватался то за одну вещь, то за другую, ругал денщика. Когда чемодан был уже уложен, он вдруг спохватился: «Ах, да!» — и побежал в спальню. Через минуту он принес оттуда маленький револьвер в чехле.

— Чуть было самое важное не забыл, — проговорил он, криво улыбаясь.

Костя вздрогнул и отвернулся к окну.

— Ну, ехать, ехать! Кажется, ничего не забыл.

Они быстро оделись и, напутствуемые пожеланиями денщика, сели в сани.

Яркий багрянец еще догорал за синим, далеким куполом собора. Было сухо и морозно; в ясных сумерках зажигались электрические фонари.

— Скорее, скорее, братец. Рубль получишь! — торопил Алексей извозчика, и сани понеслись.

— Тетка ведь денег не дала, — вспомнив давешнюю неудачу, сказал Костя.

— А, черт с ней! Теперь все равно! — с беспечным смехом ответил Алексей и что-то запел даже, победоносно закручивая черный ус.

В поезде было тесно, но Алексей покричал на кондуктора, потребовал начальника станции, и Рудаковых перевели в первый класс.

В купе сидели старичок в клетчатом сером костюме и барышня. Прочитав «Новое время», старичок первый вступил в разговор, рассказал, что он едет только до Любани, откуда еще 30 верст на лошадях до фабрики, которой он управляет, что барышня — его дочь, учится в консерватории, посетовал на железнодорожные порядки и после каждого слова прибавлял «изволите ли видеть». Алексей почтительно поддерживал разговор, и

только барышня, уткнувшись в книжку, и Костя в углу дивана молчали.

В Любани пассажиры вылезли, а братья, накинув шинели, вышли на платформу.

Стало еще холоднее, и каким-то другим воздухом пахнуло.

— Ты чувствуешь, Алеша, уже деревней пахнет. Как хорошо! — восторженно сказал Костя.

— Да, хорошо. Так снежно, бодро. Какой закат был сегодня… И ужели, ужели умереть? — вдруг, снова охваченный какими-то темными мыслями, прошептал Алексей.

Гуляющие по платформе барышни в платочках заглядывались на блестящую гвардейскую форму Алексея, жандарм отдал честь. Синие звезды ярко блестели.

— Что ты, что ты, Алеша, — бормотал Костя растерянно, а тот, прижавшись к руке брата, будто ища защиты, шептал:

— Ты не знаешь, Костенька, ты не знаешь, как тяжело мне.

Но пройдя до конца платформы к самому паровозу, где снежным ветром ударяло в лицо, он заговорил спокойнее:

— Ну, ничего, Костя, может быть, Бог милостив. Она обещала, поклялась еще подумать и 27-го

прислать письмо. Но без нее я не могу. Костя, понимаешь, не могу. Ты еще мальчик, Костя, ты узнаешь потом, что есть случаи, когда нельзя жить. Только надо бодро и весело принять все. Помнишь, кто это, на пиру-то, Цицерон?..

— Петроний, — поправил Костя.

— Ну да, Петроний. Все перезабыл. У нас историю Зудт читал. Он еще у вас? — И Алексей по-детски весело вдруг засмеялся: — Исторический Зуд его звали.

Костя невольно улыбнулся.

— Знаешь, брат, холодно. Зайдем в буфет погреться, — хлопая ногой об ногу, сказал Алексей.

Он опять был весел и покоен. Уже после второго звонка Алексей залпом выпил три рюмки коньяку, шутил с буфетчиком и, жуя бутерброд, вскочил в вагон, когда поезд тронулся.

— Вот теперь бы всхрапнуть. Ведь нам часа три еще, — сладко потягиваясь и зевая, сказал Алексей, войдя в купе.

— А там в чемодане, Костя, если хочешь, достань — книги есть. Один роман препикантнейший. — Он подложил шинель под голову и как-то мгновенно заснул.

Костя раскрыл чемодан. Револьвер лежал на самом верху.

«Ужели он решится? — подумал Костя с тоской и долго смотрел на раскинувшего руки, улыбающегося во сне брата. — Ужели он решится?»

Костя достал книгу, но читать не стал, а, выйдя из купе, заходил по коридорчику; останавливался у окон, и, прижимаясь лицом к замерзшему стеклу, повторял про себя: «Ужели он решится?»

Белые блестящие поляны, темневшие в сугробах деревья, приветливые далекие огоньки мелькали в окно, и невольно Костя начинал думать о Курганове, о праздниках, о Шуре. Радостно и тревожно становилось ему и хотелось скорее приехать.

II

На платформе Рудаковых встретил кучер.

— Ну что, Василий, все у вас по-прежнему? — весело заговорил Алексей, примеряя, которая из двух шуб, высланных заботливой Марией Петровной, подойдет ему.

— Вот эта как раз. Еще времена дедушки Михаила, кажется, помнит. Юнкером в ней ездил. Ну так все благополучно у вас, Василий?

— Так точно, ваше сиятельство. Барин, было, болел, за доктором в город посылали, да теперь,

слава Богу, опять ничего. Барышня вчерась приехали, — докладывал, почтительно улыбаясь, Василий.

Поезд ушел. Тихо вдруг стало на станции, и снегом мело из поля. По сугробам в темноте едва добрались до саней. Промерзшая тройка лихо понеслась. Быстро скрылись железнодорожные фонари; проехали сонные улицы станционного поселка, по полю, в лес; легко раскатывались сани, комья летели в лицо из-под копыт пристяжных.

— А охота есть уже? — спросил Алексей.

— Топтыгина еще не трогали, хоть лесник из Полянок говорит, выследил, а на волков Петровский барин ходил. Трех убил, — оборачивая свое с побелевшими усами багрово-синее лицо, отвечал Василий.

— Вот бы соорудить облаву. Охотники-то есть у вас по соседству? — оживленно заговорил Алексей.

— Как не быть, ваше сиятельство. Петровский барин, со стеклянного завода управляющий. Еще собрать можно. Только мужичков до четвертого дня не поднять. А охота у нас веселая, дня три облавят, а по вечерам в деревню на поседку. Девки у нас свободные. Вина с собой привезем, — тоже

оживляясь, говорил Василий.

— Да, только на четвертый день уже поздно, — задумчиво сказал Алексей и, плотнее закутавшись, замолчал.

— Разве не до Крещенья у нас погостите?

Знакомая предпраздничная радость овладела Костей, слова брата донеслись до него будто откуда-то издалека, и страшного смысла их не хотел понимать Костя. Хотелось только лететь так по мягкому снегу, смотреть на зеленым блеском сверкающие звезды, теплее закутаться в шубу и радостно вспоминать: вот от этой поляны поворот, потом амбар, потом роща, пригорок, за пригорком деревня, потом мост и усадьба.

Старый амбар, темневший на опушке, вызвал детски-жуткое воспоминание о разбойниках, о таинственной белой собаке, которая как-то в сумерках гналась за Костей и Шурой. Быстро скатили с пригорка, так что сани чуть не кувыркнулись в сугроб.

— Тише ты! — закричал Алексей, а радостное волнение все сильнее охватывало Костю.

Мелькнули темные избы деревни с редкими лампадами в окнах; лениво залаяли собаки на задворках, и уже на пригорке, за рекой, затемнели деревья парка, и далекий огонек засиял

путеводной звездой.

— Вот и Курганово, — сказал Алексей. — Тихая пристань.

— Аккуратно доставил. Не более получаса ехали. Барыня со мной ездить опасаются, — с гордостью говорил Василий.

Он привстал, гикнул, и вскачь понеслась тройка по мосту, в гору, по аллее в красные ворота усадьбы, и как вкопанная остановилась, осаженная сильной рукой, у крыльца, занесенного снегом.

В окнах замелькали тени.

С трудом отворилась дверь, заваленная снегом; горничная в наколке и фартучке со свечкой в руках выскочила на крыльцо; из кухни с фонарем бежал работник вносить чемоданы.

Седенький, розовенький, маленький Андрей Павлович в ваточной куртке приветственно топтался в передней.

— Ну, молодцы, молодцы, что приехали, не забыли нас, стариков. Да который же Константин? Вырос, батюшка, не узнал, — радостно бормотал он.

Мария Петровна кричала из гостиной:

— Андрюша, зачем полез в переднюю? Простудишься, дай им отогреться.

Горничная с трудом стащила тяжелые шубы.

— Ну, здравствуйте, милые, здравствуйте, — обнимал то одного, то другого Андрей Павлович.

— Простудишься, Андрей! — еще раз закричала Мария Петровна, но не выдержала и сама тоже пошла в переднюю навстречу гостям.

— Господи, Костик, усы отрастил, — прижимая Костю к себе, восклицала она. — А ты, Алексей, дай-ка посмотреть на тебя. Да ты, батюшка, стареть начинаешь. Плохо смотришь и височки того…

Костя взглянул на Алексея и будто впервые заметил нездоровую желтизну лица, круги под глазами и уже редеющие черные волосы, на височках чуть-чуть седоватые. Только красные тонкие губы из-под узких подстриженных усов улыбались как-то по-детски, жалобно.

— А все-таки молодец еще Алексей, красавец, — окончив осмотр, сказала Мария Петровна одобрительно.

— Года уже подходят, ничего не поделаешь, ma tante, — нагибаясь к руке теткиной, вымолвил Алексей.

— Ну, что мы толчемся здесь. С дороги устали? Хотите умыться? Лиза, проводи молодых господ в их комнаты. А где же Шура? — говорила суетливо

Мария Петровна.

— Барышня у себя, поправляются, — ответила горничная.

— Вот что значит кузены приехали. Пошли теперь бантики, ленточки, — смеялся Андрей Павлович.

— Вы-то не очень долго прихорашивайтесь, — кричала Мария Петровна молодым людям, которых Лиза повела по широкому, весь дом разделяющему на две половины коридору.

— Вот сюда пожалуйте. Не надо ли почистить чего? — открывая дверь, сказала Лиза.

— Нет, краля писаная, ничего нам пока не нужно, — весело ответил Алексей.

Комнат было две. Первая проходная и поменьше — для Кости, вторая, угловая — для Алексея. В каждой стояло по столу у окна, умывальнику, комоду и большой деревянной кровати с высокими пуховиками и горой подушек. Низкие потолки, тепло натопленные печи и голубенькие занавески на окнах придавали им вид уютный.

— Хорошо возвратиться блудному сыну в лоно родительское, — сказал Алексей. Уже умываясь, вытирая лицо, он закричал из своей комнаты:

— А старики ничего еще, бодры. Заметил реформу: хорошенькую горничную тетка завела,

значит, его превосходительство уже того — безопасен. А в прежнее время на этот счет было строго.

— Если вы думаете, что у меня не слышно, то ошибаетесь. Между нами есть дверь и в ней щели, — донесся вдруг из-за стены звонкий, знакомый и вместе чем-то странный голос.

— Вот так попались. Недурно для начала, — захохотал Алексей. — Тысячу извинений, Шурочка, милая. Такая маленькая и подслушивает мужчинские разговоры.

— Во-первых, я не такая маленькая, как вам представляется по детским воспоминаниям. Во-вторых, не я виновата, что все слышно, будто вы у меня в комнате. Вот кто-то снял сапог и бросил на пол, правда?

— А что я сейчас делаю? — весело ответил Алексей.

— Что-то бесшумное, во всяком случае.

— А подсмотреть нельзя?

— К счастью, с моей стороны стоит у двери шкаф.

— А вы знаете, кто с вами говорит, кузиночка?

— Слава Богу. Кто у нас говорун и крикун. Константина Петровича пока не слышно, не видно; не заснул ли он, сняв сапоги?

Действительно, Костя, сняв один сапог, так и остался сидеть на постели, вслушиваясь в милый, чем-то новый голос, и какая-то тягость овладевала им от этих веселых слов.

— Ах, Александра Андреевна, простите своему престарелому дяде фамильярность — он назвал вас по старой привычке Шурочкою, — болтал Алексей.

— Ну, хотя вы мне и не дядя, переодевайтесь скорее, а то мама, наверно, уж волнуется за свой ужин.

Молча и поспешно окончили братья свой туалет. Только выходя в коридор, Алексей сказал, понизив голос:

— А Шурочка, кажется, бойкая стала. Эти девчонки быстро развиваются. Интересно.

Костя сумрачно промолчал.

Все уже сидели за столом в столовой: Мария Петровна, Андрей Павлович, напудренная и принаряженная старая гувернантка мисс Нелли и Шура. Она сильно изменилась, и не только выросла, похудела, казалась, несмотря на свои 17 лет, почти взрослой, но как-то и улыбка, и глаза, и голос, и какая-то развязная веселость, с которой она встретила кузенов, — все представилось Косте чем-то иным, чем в той быстрой, шаловливой

девочке, которая так смущала его уже два года тому назад.

Когда, подавая руку, Шура, насмешливым взглядом окинув его, сказала: «Вы изменились, Константин Петрович», — Костя так смутился, что не нашелся, что ответить. Зато Алексей отвечал весело:

— А вы-то как, Александра Андреевна. Прямо смотреть стыдно. Мы ей, как деточке, шоколадцу с фруктами привезли, какой уж тут шоколад: придется позорно самим есть. Разве мисс Нелли поможет.

— О, какой шутник, какой шутник! — смеялась мисс, привыкшая считать Алексея за остряка.

Ужин, как всегда в первый вечер приезда гостей, долго ожидаемых, но уже не совсем привычных, прошел несколько напряженно. Костя сумрачно молчал, мучаясь своим смущением и не понимая его.

Один Алексей болтал без умолку, рассказывая о столичных новинках, городских сплетнях, новых лицах, последних балах и театрах.

Задумчиво отклонившись на спинку стула, слушала Шура слова офицера, не отрывая глаз от него. Костя же, поймав ее внимательный и восхищенный взгляд, готов был заплакать.

Мучительным был для него этот первый вечер в Курганове, о котором так сладко и давно мечталось ему.

Даже некоторое радостное облегчение почувствовал Костя, когда Мария Петровна объявила наконец:

— Ну, успеете наболтаться. Еще будет день, а теперь спать, спать. Завтра рано вставать. Еще столько работы, и елку украшать.

— А вы не бросили своего пения, кузиночка? — спросил Алексей, задерживая Шурочкину руку в своей, когда уже в коридоре они стояли каждый у своей двери.

— Нет, — ответила та, и почему-то яркий румянец залил тоненькое, будто восковое лицо.

— Ну вот, отлично. Я привез куплеты из новой оперетки. Завтра попоем. Да? — И какая-то нежная насмешливость была в его взгляде и словах.

Костя неловко, молча поклонился и первый вошел в свою комнату.

Костя сумрачно раздевался. Алексей прошелся по комнатам несколько раз. Вид у него был рассеянный и мечтательный, так что несколько неожиданны были его слова:

— Ах, Костик, как тяжело мне. Вот так хожу, смеюсь, будто забываю, а как вспомнишь…

Костя молчал неприязненно. Алексей прошелся еще раз и сел рядом с ним на постели.

— Ведь, может быть, последние дни это мои. А так хорошо жить. Вот Рождество. Будто в детстве, сладко. А жить уж нельзя, Костик, милый, как тяжело.

Казалось, он готов был заплакать. Острая жалость охватила Костю.

— Ну не надо, Алеша. Может быть, все уладится, — тихо говорил он и нежно гладил брата.

Так, понижая голос до шепота, долго говорили они. Алексей рассказал всю историю своего увлечения известной дамой полусвета, обольстительной и бессердечной, из-за которой уже несколько в городе насчитывалось дуэлей, скандалов, темных историй. Костя утешал его.

— Однако надо ложиться, — потягиваясь, сказал наконец Алексей, — прости, Костик, я знаю, что не надо было бы всего этого рассказывать тебе. Да трудно уж очень. Единственный ты у меня друг.

Они поцеловались.

Из своей уж комнаты Алексей сказал:

— А Шурочка еще не спит. Шепчется с кем-то. Милая она девочка и прехорошенькая. Отчего ты за ней не поухаживаешь? Ну и молодежь теперь

пошла!

Он задул свечу и, вздохнув, улегся.

Костя тоже потушил свет, но остался сидеть, тщетно прислушиваясь к шепоту и шороху в соседней комнате.

В Шурочкиной комнате стояла свеча на столике перед кроватью, но сама Шурочка и не начинала еще раздеваться, причесав только волосы; горничная Лиза сидела у ног ее на скамеечке.

— Ну, так который же из них красивее? — спрашивала Шура.

— Да я уж не знаю, барышня. Константин Петрович помоложе.

— Да зато он рохля, как сонный, сидит, — досадливо промолвила Шура.

— Алексей Петрович, правда, побойчее будут. Глаза быстрые, шутник.

— Он тебя, Лиза, хорошенькой назвал. Смотри, ухаживать начнет.

— Ну, чтой-то, барышня, он ваш кавалер, а мне и Васьки моего довольно. Измучил окаянный. Как не придешь к нему, грозится: «Я, говорит, такой шкандал учиню, что нас обоих сгонят». А мне уж и надоел он.

— Да ведь ты замуж за него пойдешь?

— Он-то просит на Красной горке непременно,

а я еще подумаю.

— Как же ты его полюбила? — спросила ее Шура, и глаза ее заблестели любопытством и нетерпением.

— Не знаю, барышня, как и сказать вам. На гулянках утрепывал он за мной давно. Мне тоже не скажу нравился. А только долго я себя берегла, и по дурости все и случилось.

— Ну как же, как же в первый раз-то это случилось? — нетерпеливо перебила ее Шура.

— Да что вы, барышня, это и рассказывать стыдно, — с притворной стыдливостью закрыла рукавом лицо Лиза.

— Ну, глупая, ведь я никому не скажу. Ну, милая, Лиза, расскажи, — теребила ее Шура. — Я тебе серьги подарю. Расскажи.

— Рассказывать-то нечего. Ну, полюбился он мне прямо до глупости. Каждый вечер на мост бегала. Ну, там, танцевали. Иной раз поцелует в кустах. Слова всякие нежные говорил. А осенью все стал к себе на конюшню заманивать. Мне Матреша говорила: «Не ходи, там тебе и конец будет», — а я не выдержала, один раз и пошла, ну, вот…

— Да как же это случилось? — настойчиво повторила Шура.

— Да я, барышня, ничего и не помню. Что вы, разве можно такой срам рассказывать.

— Какая ты несносная, Лиза, — сердито сказала Шура и встала. Щеки ее пылали, глаза блестели. В задумчивости прошлась она по комнате.

— Вы бы ложились, барышня, милая, — робко, как виноватая, промолвила Лиза.

— Хорошо, я сейчас лягу. Ты можешь идти к своему Ваське. Только шубу принеси мне, а то утром опять будет холодно.

— Что вы, барышня, натоплено страсть как!

— Трудно тебе, что ли, принести?

Горничная покорно принесла шубу и, пожелав спокойной ночи, вышла на цыпочках. Шура несколько раз прошлась по комнате. Открыла дверь, прислушалась. Задула свечу и, накинув шубку, осторожно стала пробираться по темному коридору к выходной двери.

Шура вышла на заднее крыльцо. Было морозно и тихо, из-за туч прорывалась луна.

Шура постояла несколько минут будто в раздумье, глядя на темневшую конюшню, и вдруг бегом пустилась по узкой дорожке, сбиваясь в сугробы, не обращая внимания, что снег забирался в туфли.

Около конюшни, запыхавшись, Шура останови-

лась; дверь слегка была открыта, она приоткрыла еще и, как змейка, юркнула. В сенях было темно, но свет пробивался в щели; затаив дыханье, Шура припала глазом к большой дыре.

Конюшня скупо освещалась фонарем, стоявшим на полу.

Лиза в одной рубашке сидела на койке, кутаясь в ситцевое лоскутное одеяло.

— Ну, ты, леший, возись скорей, — закричала она.

— Сейчас коней справлю. Успеешь! — отвечал Василий из темноты.

— Офицеры-то к нам наехали. К барышне, поди, посватаются, ведь родня далекая. А ей пора. Уж очень любопытная стала. Измучила меня расспросами. Все про тебя: какой ты, да как целуешь. — Лиза засмеялась.

Василий подошел к койке и стал раздеваться. Лиза, смеясь, запряталась под одеяло. Василий тащил его с нее.

— Лизанька, моя люба, — бормотал он и тянулся к ней.

— Огонь-то потуши, бесстыдник, — шепнула Лиза, перестав смеяться и, когда он нагнулся к фонарю, обняла его голыми руками.

В темноте долго еще стояла Шура, прислушива-

ясь к возне, вздохам и поцелуям. Лошади жевали овес и храпели.

Только когда совсем замолкли Лиза и Василий, шатаясь, вышла Шура на воздух и медленно пошла к дому.

Костя слышал, как прошла Шурочка по коридору. Долго лежал он, вслушиваясь, когда вернется назад наконец, не выдержал, оделся и встал.

— Куда ты? — спросонок окликнул его Алексей.

— Воды забыли нам дать, пойду принесу.

Он прошел в столовую, налил стакан и стал ждать.

Наконец тихо стукнула дверь на заднем крыльце.

Костя вышел в коридор.

Легкими шагами кралась ему навстречу Шурочка.

— Кто это? — почти вскрикнула она, дойдя до стоявшего у стены Кости.

— Это я, — заикаясь, ответил тот, — за водой ходил. Позабыли нам поставить.

— А мы с Лизой бегали гадать, снег полоть. Только вы маме не говорите, хорошо? — И она протянула в темноте руку Косте.

— Да, да… — бормотал он.

— Прощайте, — ласково шепнула Шура и прошла к себе.

Костя долго не мог заснуть. Было душно и жарко; мыши скреблись где-то. Алексей во сне говорил:

— Ва-банк. Бит мой король. Поедем завтра кататься, Ани.

III

Костя проснулся рано и сразу не узнал этой, с детства знакомой комнаты, со светленькими обоями, креслом у окна, горшком герани на комоде.

Долго лежал он в постели, вспоминая все подробности вчерашнего вечера. Странным волнением наполнило его воспоминание о ночной встрече в коридоре.

Тусклый свет пробивался сквозь неплотно задернутую занавеску. Осторожно ступая, вошел в комнату Василий с охапкой дров.

— Проснулись, барин, — улыбаясь, сказал он, — а барыня истопить велели, чтобы не замерзли.

— Который час? — спросил Костя. — Уже встали?

— Барин встал, кофе кушают. А час, верно, девятый. — Василий бесшумно и ловко уложил

поленья и вздул огонь.

— Еще поспали бы, Константин Петрович, у нас раньше полудня не подымаются, — сказал он, уходя.

Но Костя выскочил из-под одеяла, дрожа от холода, быстро оделся и умылся водой с ледяшками, которую тот же Василий принес.

Алексей еще крепко спал. Он лежал на спине, сложив руки на одеяле, выражение лица его было серьезное и скорбное.

Костя долго смотрел на брата, страшно стало ему, и хотелось разбудить спящего.

— Алеша! — невольно позвал он.

Алексей на секунду поднял тяжелые веки, сладко потянулся и, повернувшись на бок, к стене, опять заснул, улыбаясь во сне чему-то.

Костя прошел в свою комнату, отдернул занавеску: знакомый вид снежных полей, липовой аллеи к реке и деревни на другом берегу с дымящимися уже трубами открылся ему.

Утро было метельное и тусклое, мелкий снег падал.

Костя нашел на комоде, чуть ли не два года назад им же оставленный, третий том «Королевы Марго», раскрыл страницу наудачу и, сев к печке, в которой яркими цветами пылало пламя, стал

читать.

Так просидел он довольно долго, читая о Гизах, короле Генрихе Наваррском, прислушиваясь к шагам по коридору, неспокойному дыханию Алексея, а главное, к тому, что делалось за стеной, в комнате Шуры.

Наконец где-то далеко раздался звонкий голос Марии Петровны:

— Будить, будить! Скоро уже завтракать!

Через минуту Лиза постучала в дверь:

— Вставайте, барин.

Костя подошел к двери и отпер ее. Лиза, не ожидавшая, что дверь откроется так скоро, чуть не упала.

— Вы уже готовы, барин? Барыня завтракать кличут, — сказала она.

— Все встали? — спросил Костя.

— Барыня только что, барин с гулянья пришли, а барышня в баню ушли.

Не зная сам для чего, Костя спросил:

— А снег хорошо пололи вчера? Что же вам вышло?

Лиза удивленно взглянула на него.

— Снег полоть еще рано, барин. В посту грех. Так я пойду на стол подавать.

— Что бы это значило? Путают они что-то! —

задумчиво повторял Костя, шагая из угла в угол по комнате.

Алексей, проснувшись, кричал весело:

— Ну, как спал, Костик, на старом пепелище? Я же отлично; и елку видел во сне, и подарок мне подарили. Только какой — тут меня и разбудили. Вот досада! Это к удаче, Костик, не правда ли?

— Да, да, конечно, — рассеянно отвечал Константин. — Вставай скорей, тетушка с завтраком ждет.

— Благодать! — стоя в одном белье, намыливая лицо и шею, болтал Алексей. — Не жизнь, а малина. От завтрака до обеда, потом до ужина. Пожалуй, танцевать с поповнами заставят и медведем рядиться.

Долго и тщательно одевался Алексей, болтая веселый вздор и напевая: «Должна признаться, люблю кататься я со студентом молодым, да не с одним».

Натянул новые малиновые рейтузы, старательно зачесал редеющие височки, тоненькой кисточкой тронул около глаз и губы, напудрился, надушил платок мимозой, терпкой и приторной, осмотрев себя в зеркало, прищелкнул пальцами:

— Недурна канашка!.. Ну, пойдем, Костик, что таким мрачным встали, ваше сиятельство?

В столовой, просторной и пустоватой, было как-то особенно светло от снега за окнами и не повешенных еще к празднику гардин.

Андрей Павлович возился около спиртовки. Мария Петровна в величественном капоте и чепце с бантами, с болонкой на коленях пила кофе, косясь из-под пенсне на газетный лист, развернутый перед ней.

— Что же вы мне вчера не сказали, что в Париже наводнение. Французский посол устраивает базар в пользу пострадавших. Люся и Тоня, верно, опять будут выставляться, ждать женихов, — оживленно заговорила она, целуя братьев в лоб.

— Пей, матушка, кофе. Убирать пора, да и завтракать. Потом в Осиновку поедем. Что тебе за забота до Парижа, — ворчал Андрей Павлович, наливая стаканы Косте и Алеше.

Вошла Шура.

В беленьком платьице с синим матросским воротником, в платочке, повязанном по-крестьянски, она имела вид девочки, и будто солнцем озарила Костю ее веселая лукавая улыбка, когда она здоровалась с ним; что-то знакомое и милое узнавал он в ней и сам улыбался, слушая шутки, которыми сыпал Алексей.

До завтрака пошли в залу петь.

В большом камине ярко горели дрова.

Пока Алексей ходил за нотами, Шура показывала Косте своих инсепараблей в золоченой клетке.

— Мне их мисс Нелли подарила. Папа говорил, подохнут, а они живут и ручными совсем стали. Смотрите, какие милые, — щебетала Шура.

Она открыла клетку, и четыре зелененькие птички выпорхнули, закружили по комнате и на Шурин голос слетелись все снова, и с писком садились на голову, плечи, руки хозяйки.

— Помните, Костик, — будто обмолвившись, назвала Шура Костю старым, детским именем и сама вспыхнула и засмеялась, — помните, мы бегали по этой зале, спасались от разбойников. Разбивали табор… Как это было давно!

— А мне кажется, это было вчера. Всего два года прошло, и все время я так часто вспоминал Курганово и вас, — ответил Костя, чувствуя, что радостным румянцем заливается и его лицо.

— Будто бы вспоминали нас, провинциалов? — кокетливо промолвила Шура.

— Какая идиллия, прелесть! — хохотал Алексей. — Дева, кормящая птиц небесных! Только ты, Костик, более поэтическую позу прими, преклони хоть колено! Вот так. — И он сам гибко опустился

на колено; и, взяв Шурину руку, поднес ее к губам и запел какую-то арию.

Шура смущенно улыбалась. Встревоженные инсепарабли закружили над ее головой.

Костя сел аккомпанировать; старый рояль певуче дребезжал. Гулко разносились по зале голоса: слегка надтреснутый маленький, но приятный Алексея; по-детски сладкий еще, высокий — Шурин. Она нагибалась к нотам и кончиками платка касалась Кости, и сладко и радостно ныло его сердце.

Завтрак прошел оживленно и весело. Мисс Нелли смеялась до того, что закашлялась и принуждена была удалиться из-за стола.

После завтрака Андрей Павлович и Мария Петровна стали собираться. Рыженький Рысачок уже ржал нетерпеливо у крыльца.

— А вы, молодежь, с горы покатайтесь или на лыжах, — сказала Мария Петровна.

— Да, да, на лыжах! Я еще не обновила своих, — захлопала в ладоши Шура и побежала причесаться.

Костя и Алеша смотрели из окна, как усаживались в ковровые мягкие сани Мария Петровна в лиловой ротонде и Андрей Павлович, еще красивый и стройный в своем с красными цве-

точками дубленом полушубке и в шапке с ушами на заячьем меху, который сливался с седыми кудрями его.

— Красивый старик генерал, — сказал Алексей и, помолчав, прибавил тихо: — Два дня еще.

Костя ничего не ответил. Страшная мысль на минуту омрачила его, но Шурочка, уже совсем готовая, в крытой красным бархатом шубке, высоких суконных сапогах, шапочке с меховыми отворотами весело вбежала.

— Что же вы не одеваетесь, господа кавалеры? — кричала она.

Алексей надел коротенькую охотничью куртку, Костя — шинель. Лиза помогла натянуть им валенки; Василий ждал на крыльце с лыжами.

Захрустел твердый наст. Скатились с горы; переправились через реку, и поле, с черневшей далекой опушкой леса, открылось перед ними. Покатили быстро, сосредоточенно работая палками, изредка перекидываясь короткими фразами.

Костя бежал быстрее, и, обогнав, останавливался, и, оглядываясь, смотрел на разрумянившуюся, улыбающуюся ему Шуру, и сам улыбался ей, и хотелось бежать еще быстрее и дальше, дальше без конца…

Поднялись на пригорок.

— Покатимся без палок, — закричала Шура.

— Кубарем бы не скатиться, — смеялся Алексей, — в мои годы это не очень прилично.

— Ну вот еще! Папа с нами катается в овраге, там в десять раз круче.

— Катитесь, дети, а я посмотрю и покурю, — ответил Алексей.

Костя встал рядом с Шурой.

— Раз, два, три! — скомандовал Алексей.

Костя оттолкнулся палками и полетел вниз, стараясь не перегонять Шуры.

— Падаю, падаю! Задавлю! — со смехом кричала Шура.

Костя обернулся, и в ту же секунду Шура пошатнулась, задела лыжей его лыжу, и оба они были в снегу.

— Браво, браво, бис! — кричал Алексей с горы.

Костя лежал внизу, Шура сверху. Она смеялась и от смеха не могла подняться. Алексей осторожно спускался на помощь, но Костя прижал к себе Шуру, приподнял и поставил.

— Спасибо, Костик! — второй раз назвала его так Шура. — Я бы завязла тут по горло. Вот что значит отвычка. С прошлой зимы не бегала. Но что с вашей лыжей?

Одна из Костиных лыж была сломана попо-

лам.

— Как же теперь быть? — опечалилась Шура. — Придется домой пешком идти. Да вон наши едут, они вас подвезут.

Невдалеке по дороге мчались сани.

— Мама, папа, погодите! — закричала Шура и побежала наперерез саням… Алексей последовал за ней. Костя печально поплелся, таща лыжи и завязая в сугробах. Андрей Павлович придержал Рысачка, и Мария Петровна кричала взволнованно:

— Что такое? Костик ногу сломал?

— Нет, только лыжу, довезите его! — в сумеречной тишине звонко разносился веселый Шурин голос.

Костя добрался до дороги и сел на козлы.

— Не вывали нас, Костик. Смотри! — волновалась Мария Петровна.

— Раза два кувырните их, пожалуйста; там раскат есть удобный у моста, — смеясь, кричала Шура и, повернув лыжи, заскользила обратно.

Сдерживая резвого Рысачка, Костя косился на далекое поле, где на белом снегу алела Шурина шубка и рядом Алексей.

В доме топили печи, пахло горячим сдобным тестом и елкой, которую только что втащили в

переднюю.

Мисс Нелли в серой вязаной фуфайке разбирала на полу залы корзины с елочными украшениями.

— Ну, как тебе Шура понравилась? Изменилась? — спрашивала Мария Петровна.

— Она очень милая, — отвечал Костя, глядя в окно на аллею, по которой должны были возвратиться лыжники.

— Смотрите, не влюбитесь, ребятишки; не посмотрю на твой юнкерский чин, выпорю! — погрозила пальцем вспыхнувшему Косте тетка и хлопотливо пошла на голос Андрея Павловича из столовой.

— Marie, где у тебя веревка? Вечно растащут, потом ищи!

Сумерки быстро надвигались, тусклые и метельные.

Между березами мелькала Шурина шубка, Алексей шел рядом с ней, держа лыжи, и что-то говорил Шуре, улыбаясь. Та, разрумянившаяся, слушала, опустив глаза, и тоже улыбалась.

Совсем молодым казался Алексей в своей курточке с мехом, в удальски заломленной шапке с пунцовым верхом.

Костя отошел от окна и заговорил с мисс Нелли,

прислушиваясь, как долго и весело раздевались в передней Шура и Алексей.

— А вы уже приехали. Не вывалили? — как-то равнодушно спросила Шура на ходу и побежала через залу в свою комнату.

IV

На второй день праздников издавна был заведен обычай всем окружным помещикам съезжаться в Перетну к уездному предводителю Евaресту Степановичу Колымягину на именины. Кургановы хотя и держались в стороне от соседей, но с Колымягиными связывала их старинная дружба и даже отдаленное родство, поэтому Мария Петровна, поворчав немного накануне, объявила, что ехать необходимо.

Поднялись со светом, но пока одевались, пока домашняя портниха перешивала на новом Шурином платье ленты, оказавшиеся не на том месте, на котором полагалось им быть, по мнению Марии Петровны, пока пили кофе и Андрей Павлович кричал на Василия, запрягавшего Рысачка в тройку, а не в одиночку, пока перепрягали лошадей, отыскивали для всех валенки и рукавицы, совсем рассвело, а когда выехали

из усадьбы и поднялись на гору, солнце как-то вдруг выкатилось, заливая ясное небо и далекие снежные равнины багровым пламенем.

Впереди на Рысачке ехали: Андрей Павлович с Марией Петровной; на тройке: Костя, Алексей и Шура.

Шура, не выспавшаяся, закутанная в тяжелую ротонду, имела вид довольно кислый. Алексей тоже был молчалив.

Одного Костю радовали и солнце, и снег, и предстоящая длинная дорога. Сидя на облучке, он расспрашивал Василия о каждой повертке, о видневшихся вдалеке деревнях, вспоминал, как было раньше и что изменилось, оборачиваясь к сидящим сзади, старался оживить их, но Шура только качала головой и закрывала утомленно глаза, а Алексей отвечал односложно, меланхолически кутаясь в воротник шубы.

— Когда письма привозят, утром, рано? — спросил Алексей.

— Да часов в восемь, а разве вы ждете? — встрепенувшись, спросила Шура.

Костя оглянулся; каким-то жалким показалось ему лицо Алексея, сегодня особенно желтое, с подведенными глазами и накрашенными губами.

— Отчего же не ждать мне писем? — с притвор-

ным смешком отвечал Алексей. — Эх, Александра Андреевна, кому же, как не мне, осталось только сидеть у окошечка и ждать письмеца.

— Держитесь, барин! — крикнул Василий, и Костя покачнулся, едва успев схватиться за сиденье. Лошади галопом вынесли сани из глубокого ухаба и помчались по ровной дороге к лесу.

Алексей, понизив голос, сказал что-то, и весело засмеялась Шурочка.

Колокольцы заливались, скрипел снег под полозьями; голоса относило ветром, так что только отдельные слова оживленной болтовни долетали до Кости.

Алексей приосанился, отогнул воротник, подбоченился, смеялся, рассказывал анекдоты, пересыпая их невинными комплиментами; Шурочкины глаза тоже блестели из-под спущенного на лоб мехового отворота шапочки; красные губки ее улыбались, а Костя чувствовал себя почему-то отчужденным, и все реже оборачивался и вмешивался в шутливый разговор, и все реже обращался к Василию с вопросами.

Примелькались ему белые равнины, мерзли ноги, от нестерпимого блеска солнца на снегу утомлялись глаза.

Ехали долго. Синели и голубели снега, ослепи-

тельно сияли далекие пригорки.

Проехали большое торговое село. Народ расходился от обедни; ребятишки бежали за санями, клянча копеечку; у казенки горланили мужики.

Выехали на широкий Боровичевский тракт, переехали по опасному мосту над незамерзающей бурливой Перетной, и, наконец, Перетенская усадьба с недостроенной «вавилонской башней», с полуразрушенной каменной аркой и огромным красным остовом сгоревшего паркетного завода показалась в широкой ложбине.

Лихо пустил тройку под гору Василий и, несмотря на отчаянные крики Марии Петровны и грозные взгляды Андрея Павловича, не разбирая дороги, по косогору, раскатам, сугробам перегнал Рысачка.

— Молодец, Василий! — крикнул Алексей.

Василий, осклабившись, обернулся и, привстав, еще подстегнул лошадей.

— Какой красавец! — сказал Алексей по-французски. — Это тип русской красоты: румян, глаза бычачьи, усы черные, губы — малина. Сохнут об нем девушки!

Шура, будто вспомнив что-то, вспыхнула и потупила глаза.

— Ей-богу, рекомендую влюбиться. Это пикант-

но для «молодой девицы или дамы», как пишут на модных картинках, — смеялся Алексей.

Усадьба являла вид полного запустения.

Широкий двор сплошь был занесен высокими сугробами. Пригодным для жилья из всех затейливых сооружений Перетенской усадьбы остался боковой флигель, длинный и узкий, к нему, по дороге между глубокими сугробами, Василий подкатил лихо, а Марии Петровне и Андрею Павловичу пришлось высадиться на снег, так как поворотить не было никакой возможности.

— Ты что же это, мерзавец, лошадей загонять хочешь? — яростно начал кричать Андрей Павлович, но Мария Петровна быстро успокоила его, сказав по-французски:

— Андрюша, не компрометируй себя!

— Ну уж, матушка, этот народ!.. — махнул рукой Андрей Павлович и пошел по веранде, занесенной глубоким снегом.

Все было нелепо и неудобно в усадьбе Колымягиных; наружная дверь вводила прямо в столовую, в которую наши путники и ввалились. За длинным столом уже сидело человек двадцать гостей. Сам Еварест Степанович в дворянском мундире и орденах, с длинными крашеными баками сидел во главе стола.

— А, Курганово двинулось! Ведите их раздеваться, а мы, господа, не будем им мешать! — будто скомандовал перед строем Еварест Степанович и прекратил суматоху, внесенную на секунду новоприбывшими.

Мария Петровна и Шура в тот же миг попали в объятья Елены Михайловны Колымягиной, дамы полной и суетливой, и худосочной дочери ее Лели. Мужчинами занялись сыновья Колымягиных, студент Юраша и кадет Павлуша.

В комнате мальчиков гости сняли свои шубы и валенки. Алексей подошел к зеркалу, поправил прическу, разговаривая с кадетом, который, краснея и восхищаясь гвардейской формой офицера, отвечал, становясь навытяжку: «Так точно!», «Никак нет!».

Костю занимал студент, расспрашивая о порядках в училище, а Андрей Павлович потребовал теплой воды и переодевался чуть не с головы до ног в крахмальное белье, сюртучную пару, которые были привезены, чтобы не измять в дороге, в чемодане вместе с платьями Марии Петровны и Шуры.

Наконец сам Еварест Степанович пришел за гостями и загромыхал благосклонным басом:

— Долго, судари мои, прихорашиваетесь, не

по-военному. Идемте, идемте закусить скорее. Я для вас устриц припас. От Елисеева, отличнейших. За завтраком я подавать не велел. Наша интеллигенция-то, пожалуй, с ними обращаться не сумеет, грызть начнет. А мы теперь, под сурдинку, и бутылочку разопьем. Давненько мы с тобой не виделись, Андрей Павлович, давненько. Все в хлопотах.

— Что ж ты, опять завод какой-нибудь устраиваешь? — комкая непослушный воротничок, спросил Курганов иронически.

— Миллионное дело, mon cher! Глинисто-каменно-угольные залежи на Перетенке оказались, и, кроме того, кинематограф завожу. Хочешь в компанию?

— Нет уж, уволь! Кто ж в твой кинематограф будет ходить? — обдергивая жилет, вымолвил Андрей Павлович.

— Как кто? — входя в азарт, басил Колымягин. — Простой арифметический подсчет. На ярмарку в Перетну съезжается ежегодно круглым счетом пятнадцать тысяч, местное население волости, помещики. У нас в России никто по пальцам сосчитать не умеет, потому и бьют нас, и еще мало.

— Да ну тебя, веди лучше есть. Сколько раз

ты-то рассчитывал и подсчитывал.

— Стар стал — пеленаться стал, — засмеялся Колымягин так, что подсвечники на столе задребезжали.

Гостей из столовой уже перевели в гостиную.

Мария Петровна вышла в темно-малиновом платье; Шура в белом легком платье с высокой талией, убранном голубыми лентами, казалась рядом с некрасивой, не первой молодости Лелей совсем девочкой, шаловливой и слегка смущенной.

Алексей сейчас же подошел к барышням.

— Какой вы Ольгой-Татьяной сегодня кузина, и наш приезд допотопных помещиков так стилен.

— Кто же Онегин? Вы, m-r Рудаков? — спросила, грассируя, Леля.

— Тогда Косте достанется роль Ленского. Кстати, он сегодня мрачен и томен, — с живостью ответил Алексей.

Колымягин, рассаживая за стол, посадил Костю рядом с Лелей. Алексей сел напротив, а Шура, которую Еварест Степанович хотел непременно посадить между сыновьями, побежала на другую сторону к Марии Петровне.

— Вы что бунтуете, кузиночка? — поймав ее за руку, сказал Алексей. — Кавалеров избегае-

те? Садитесь тогда со мной. Я буду служить вам защитой.

И он почти насильно усадил Шуру рядом с собой.

Леля, поджимая губы, жеманно занимала Костю разговорами.

Студент наливал рябиновку и чокался.

Солнце сквозь замерзшие окна заливало всю столовую.

Подали блюдо устриц. Хлопнула пробка шампанского.

Алексей учил Шуру глотать устрицы и требовал, чтобы она допила свой бокал. Шурочка смеялась, отказываясь. Было шумно и весело. Говорили в десять голосов.

У Кости от жары и вина с непривычки кружилась голова. Он уже не отвечал даже на вопросы Лели; молча пил, когда чокался с ним кто-нибудь, и неподвижными глазами смотрел на сидящих напротив Алексея и Шуру.

Из гостиной, где оставленные хозяевами на произвол судьбы гости должны были занимать сами себя, уж доносились звуки вальса. Наконец встали из-за стола. Алексей подошел к Косте и сказал, улыбаясь:

— Ну вот, в два часа дня уже пьяны, и бал в

полном разгаре. Что с тобою, Костик, на тебе лица нет? Позеленел весь. Тебе нехорошо?

Мутно взглянув на брата, Костя ответил:

— Я все о тебе думал. Ведь завтра твоя судьба! — Он вдруг засмеялся хрипло и громко.

— Костя, ты пьян, подумай, что ты говоришь, тебе, как другу, я все рассказал… Что с тобой? — растерянно бормотал Алексей, бледнея. — Ты с ума сошел!

Он резко повернулся и, преувеличенно твердо ступая, пошел в гостиную.

— Пожалуйста, Алексей Петрович, будьте распорядителем, без вас ничего не выйдет. Все просят! — бежала ему навстречу Шура.

Алексей поклонился, подал ей руку и повел, сияющую и смущенную, в гостиную.

— Вальс, — через секунду донесся его раскатистый, слегка сиплый голос. — Вальс, пожалуйста.

Костя, прислонившись к стене, будто соображая что-то, шептал:

— Что я наделал! Что я наделал!

— Что же ты, Костик, не танцуешь? — накинулась на него Мария Петровна. — Барышень так много, а кавалеры по углам забились. Посмотри на Алексея, какой молодец; старше тебя чуть не на десять лет, а какой живой. Посмотри, какая

они пара с Шурой. А ты как пентюх какой: не танцует, не ухаживает, от барышень бегает. Ну, пойдем, пойдем!

Она взяла Костю под руку и почти насильно втащила в гостиную. Алексей танцевал, небрежно повертывая Шурочку, заставляя обегать вокруг себя, приподнимая ее на воздух. Шурочка, оживленная, раскрасневшаяся, с распустившимися локонами, старательно выделывала па вальса.

— La valse est finie, — закричал Алексей и, обмахиваясь шелковым платочком, прошел мимо Кости, не взглянув на него.

Заиграли па-де-патинер. Мария Петровна толкала Костю:

— Ну иди же, медведь косолапый!

Костя вышел на середину комнаты, оглянулся и подошел к Шуре. На молчаливый его поклон Шура сделала гримаску:

— Разве вы танцуете?

Костя еще раз молча поклонился.

Шура нехотя встала. Молча прошли они первый круг.

— Вам нездоровится? — спросила Шура и улыбнулась.

— Нет, ничего, — бормотал Костя, — почему вы думаете?

— Вид у вас мрачный, и Алексей Петрович говорил.

Они еще помолчали.

— Как вы сбиваетесь с такта! — промолвила Шура. — А кто из барышень вам больше всего нравится сегодня?

Костя промолчал несколько секунд, будто не слышал вопроса, и потом, совершенно неожиданно, сказал:

— Вы мне нравитесь.

Шурочка посмотрела на него насмешливо.

— Вот не думала. Каким вы комплиментщиком стали!

Они прошли еще круг молча.

Шура промолвила «мерси» и хотела сесть.

Костя задержал ее руку и сказал, запинаясь:

— Зачем вы, Шурочка, зачем?..

— Что зачем? Спасибо. Я устала! — И, вырвав руку, Шура побежала к Марии Петровне.

Алексей перерезал ей дорогу, подхватил и повел в круг.

Костя еще долго топтался, мешая танцующим.

— Что же ты не пригласишь Лелю, она хозяйка, неудобно! — шептала Мария Петровна, но Костя, не слушая ее, вышел из гостиной.

Костя прошел несколько полупустых комнат и

в задумчивости остановился у окна.

Солнце уже зашло, и багрово-синим пламенем сиял закат. Машинально чертил Костя на замерзшем окне все одни и те же две буквы: А. К.

Заглушенная доносилась музыка из гостиной, пробежали мимо две барышни, смеясь.

Юраша прошел, посмотрел удивленно на отвернувшегося к окну Костю, спросил что-то и, не получив ответа, ушел. Кому-то аплодировали в гостиной, и опять заиграла музыка. В комнате становилось совсем темно. Закат бледнел, начинал падать снег.

В соседней комнате тихо говорили и смеялись сдержанно. Костя не слушал.

— Какая вы глупенькая, Шурочка! — долетел до него вдруг пониженный голос Алексея. — Ну же, ну!

Костя обернулся. В соседней комнате в сумраке белело платье. Алексей, стоя спиной к нему, еще что-то сказал тихо. Шура засмеялась. Алексей придвинулся к ней. Костя видел, как две обнаженные до локтя руки обняли Алексея. Явственный звук поцелуя раздался.

Костя не шевелился.

— Ну вот так, так бы давно, милая моя девочка! — говорил Алексей. — Только смотрите, ни

гугу.

И, разговаривая тихо, они прошли в другую комнату. Костя, осторожно ступая, шел за ними. В столовой Шура и Алексей остановились, встреченные Марией Петровной. Костя из темноты коридора долго разглядывал освещенные их лица, побледневшее Шурочкино, улыбающееся смущенно, и спокойное, торжествующее Алексея.

Потом Костя медленно вошел в гостиную. Румяный попович, местный поэт, став в позу у рояля, декламировал:

Угас Грифошка наш! Угас!
Душа собачья отлетела!
Ведь он за сына был у нас,
Дитей души, души – не тела!

V

По училищной привычке Костя проснулся рано. Голова была тяжелая, слегка мутило; как после долгой болезни, тело было вялым и слабым. Не хотелось ни вставать, ни спать. Смутным и тягостным сном представлялось вчерашнее. Молчаливая обратная дорога. Метель. Василий

вылезал искать след. Ехали медленно и долго. Алексей не сказал ни слова, прошел в свою комнату и крепко захлопнул дверь за собой. Тупо вспоминал Костя все, что произошло, будто это были не она, милая, любимая Шура, не он сам, а какие-то чужие, враждебные люди.

Особенно Алексей. И далекие отрывистые картины вставали перед Костей. Вот они мальчиками. Костя совсем маленький, неуклюжий, некрасивый. Алеша черномазый хорошенький кадет; «херувимчик» зовут его горничные; веселый, смелый, привлекательный для Кости и немножко страшный в своих шалостях.

Костя внизу под балконом в песке.

— Костик! — кричит Алеша с крыши. — Костик!

Костя встает и восхищенно смотрит на брата.

— Костик, я сейчас плюну на тебя! — кричит тот.

Костя не убегает, не ревет, а только сгибается и покорно говорит: «Ну, плюй!» Обидно ему и сладко, и кажется, что все, все готов он перенести от Алексея.

И другие возникали смутные и нежные образы, и, лежа в постели, Костя улыбался, и было, как в детстве, больно и сладко, и невыносимыми

казались жестокие вчерашние слова.

Костя быстро вскочил, наскоро оделся и, не умываясь, на цыпочках вышел из комнаты.

Еще было совсем темно; едва белел снег за окнами, и красноватый пламень топившейся печки в столовой освещал один угол.

Лиза в нижней юбке, босиком вошла с посудой.

В темноте она не узнала Костю и тревожно ахнула:

— Кто это?

— Это я, — ответил Костя. — Почты еще не привезли?

— Перепугалась я, барин. Думаю, кто в такую рань встанет. К тому же поздно вчерась приехали. За почтой Василий поехал, надо быть, скоро вернется, — и, стуча пятками, Лиза побежала в кухню.

Костя прошел в переднюю, оделся и вышел.

Снегом за ночь завалило ступени крыльца и дорогу. Было холодно. Тусклый рассвет занимался. Костя, с трудом пробираясь широкими сугробами, пошел вниз по аллее. Зловещими призраками стояли высокие липы в инее. Костя спустился к мосту. Лаяли собаки в деревне; с ведрами бежали ребятишки к проруби. Костя стоял на мосту,

засунув руки в карманы и хлопая ногой об ногу. Далекий донесся паровозный свисток. Светлее становилось небо. Одна мысль владела Костей: «Скорее бы, скорее бы ехал Василий, пока еще никто не проснулся в доме».

Долго пришлось стоять Косте. Наконец, далеко за деревней показались санки. Быстро ехал Василий, но Костя не мог дождаться и пошел навстречу к нему. Поравнявшись, Василий удивленно попридержал лошадь и сказал:

— Здравствуйте, барин. Изволите, подвезу?

Костя сел в сани; дух захватывало у него. Надо было начать говорить, и не знал он, как сказать.

Вот уж мост проехали, стали подыматься в гору.

— Что, письма есть? — спросил Костя, и голос его осекся.

— Кажись, семь штук.

— Кому, ты не знаешь?

— Нет, я не разбираю по-писанному; как почтарь дал, так и везу.

— Дай-ка, я посмотрю, нет ли мне? — Костя взял сумку, но в эту минуту подъехали.

Андрей Павлович смотрел из окна, поджидая газет.

Но Василий не сдержал Рысачка у парадного

крыльца, и тот понес к конюшням.

— Ничего, я через кухню пройду, — сказал Костя и на ходу соскочил.

В темных сенях он вытащил из сумки пачку писем. Первым был узкий розоватый конверт, знакомыми духами от него пахнуло, и Костя, не смотря даже адреса, поспешно сунул письмо за обшлаг. Андрей Павлович кричал из кухни:

— Ну, Костик, почту давай скорей!

Раздеваясь в передней, Костя осторожно вытащил письмо и долго рассматривал крупным, острым почерком надписанный адрес и зеленоватую большую печать с головой Антиноя.

Хотелось Косте разорвать, бросить в огонь это страшное письмо, но, заслышав шаги по коридору, он быстро спрятал конверт в боковой карман и прошел в свою комнату.

Дверь в комнату Алексея была закрыта.

От Костиных пальцев пахло духами письма; в каком-то ужасе, будто отмывая кровь, усердно принялся Костя мыть руки, намыливал их несколько раз, и все казалось ему, что тонкий приторный аромат не выдыхался.

Костя отдернул занавеску и взялся за книгу. Буквы прыгали, прочитанные строчки оставались непонятными, и все внимание невольно

отвлекалось к тому, что делается в комнатах Шуры и Алексея. Но там было тихо.

Долго сидел Костя, поднося по временам к лицу пальцы, от которых едва уловимый, сладкий и ядовитый запах несся; будто случайно проводил рукой по куртке, щупая, не пропало ли письмо, или не приснилось ли ему все это. И прислушивался так, что, казалось бы, каждый вздох, каждое слово услышал бы, но никто даже не шевельнулся в соседних комнатах.

Наконец Лиза постучала в дверь:

— Кофе кушать!

Костя стукнул Алексею:

— Алеша, вставай! — Но, не получив ответа, вышел.

Андрей Павлович один сидел за самоваром. Отложив газету, он налил Косте стакан и сказал:

— Гулять ходил? Молодец! Утром полезно пройтись. Я сегодня проспал. Этот дурацкий вечер! Последний год туда ездок. А тебе было весело?

— Да, дядя, конечно! — рассеянно ответил Костя.

Они молча допили свои стаканы.

— Хочешь, пройдемся на скотный? — предложил Андрей Павлович.

Целый час водил он Костю по стойлам, объ-

ясняя породистость тучных, высоких коров. В теплом коровнике пахло молоком и навозом. Андрей Павлович кричал и распоряжался, а Костя думал только о том, как бы скорей возвратиться.

Когда они вернулись, все уже встали.

Шура в сереньком пуховом халатике и Мария Петровна в капоте пили чай. Мисс Нелли у окна вязала, Алексей ходил по столовой и курил. Громкий, веселый голос его услышал Костя еще из передней. Алексей поздоровался с братом, молча подставив щеку, и, коснувшись этой, слегка колючей, пахнувшей табаком и духами щеки, Костя такую нежность почувствовал к Алексею, что хотелось ему заплакать, или поцеловать эту маленькую, волосатую руку, или хоть сказать что-нибудь ласковое.

Но Алексей отстранился; что-то холодное и суровое было в его глазах, и, посмеиваясь, продолжал он свой рассказ:

— Этот попович прямо ископаемое какое-то. Он напился потом, стал читать нам свои экспромты, к несчастью, непечатные. Удивительный тип. Да, один можно прочесть. Опять в честь Грифошки, вот собачий поэт:

Это – золото, не пес;

Он ужасно зол от уха.
У него ведь в ухе чёс
Оттого, что золотуха!

— Фу ты, какая глупость! — смеялась Мария Петровна.

Шура блестящими глазами следила за каждым движением Алексея.

Томительно проходил день для Кости. Шура пела. Потом Алексей у камина читал ей и Марии Петровне Мопассана по-французски. Прислушиваясь к мягкому, слегка картавому выговору, Костя ходил по кабинету, смотрел то на Алексея, закинувшего ногу за ногу, то на Шуру, сидевшую, нагнувшись к коленям матери, и неподвижными, немигающими глазами уставившуюся на Алексея, изредка дотрагивался до кармана, нащупывая письмо, и становилось грустно и страшно ему.

В сумерках, ходя по зале, долго и тихо о чем-то говорили Шура и Алексей, а Костя прислушивался к их шагам, сидя в кабинете с книгой в руках, не перелистывая страницы, не разбирая в темноте строк, но не властный встать, сделать хоть малейшее движение.

Сейчас же после обеда все разошлись. Шура

ушла в свою комнату. Мария Петровна в спальню. Андрей Павлович писал и щелкал на счетах в кабинете. Костя сел со своей книгой к столу в гостиной, за которым мисс Нелли вязала. Алексей долго ходил по темному, освещенному камином залу, насвистывая из Фра-Диаволо. Потом он постоял, прислонившись к косяку в дверях гостиной, кинул несколько шутливых слов мисс Нелли и пошел по коридору.

Костя слышал, как он постучал в дверь Шуры: «Можно?»

Только стучали спицы мисс Нелли, тикали часы и где-то хлопала оторванная ставня.

Наконец вышла заспанная Мария Петровна.

— Куда же все разбежались? — спросила она. — Пойдем, Костик, искать пропавших.

Костя пошел за ней. Сильно билось сердце, и ноги дрожали.

— Шура! — закричала Мария Петровна. — Шура, куда ты забилась? — и, не дожидаясь ответа, открыла дверь.

Мария Петровна ничего не заметила. В комнате была полутемнота от густого розового колпака на лампе. Но зоркий и ревнивый взор Кости заметил и то, что слишком преувеличенно далеко, на разных концах дивана сидели Шура и Алексей,

и то, что слишком быстро вскочила Шурочка и бросилась матери на шею, слишком весело заговорил Алексей.

— А мы здесь план обсуждаем, как рядиться.

— Ну что ж, вот и отлично, — сказала Мария Петровна.

— Ты, Шурочка, Нимфой.

— А я козой, — запищал Алексей.

— Что это у тебя, какая-то перестановка, — спросила Мария Петровна, оглядывая комнату.

Костя заметил, как вдруг покраснела Шурочка и сбивчиво отвечала:

— Так удобнее. Я уж давно, как приехала, переставила туалет от той двери, а то мне тут темно.

— Ну, а теперь дуть будет. Изволь на место поставить. Терпеть этого не могу.

— Хорошо, я завтра скажу Василию, — замина-ясь, промолвила Шура.

К вечеру у Шурочки разболелась голова, и она не вышла ужинать. Ужин прошел быстро. Все казались уставшими. Алексей ушел к себе первым. Костя медлил, будто чего-то ужасного страшась. Зевая, ушел спать Андрей Павлович. Мария Петровна, забрав газеты, удалилась за ним. Неутомимая мисс Нелли еще щелкала своими спицами, но через полчаса тоже сложила

работу и, пожелав спокойных и радостных снов, ушла, туша лампы. Костя волей-неволей должен был уйти. У Алексея было темно и тихо. Костя разделся, потушил огонь и лег, но, не закрывая глаз, слушал.

Так в темноте он пролежал час или даже два. Все было тихо, только полы трещали в зале, да мыши изредка скреблись и пищали. Вдруг тихий, но явственный шорох услышал он в комнате Алексея. Костя приподнялся, ужас охватил его. Еще сам не зная, что он сделает сейчас, Костя вскочил с постели и подбежал к двери.

— Алексей, ты спишь? — хрипло зашептал он.

Никто не ответил, но какое-то движение уловило чуткое ухо Кости. Тогда, не помня, не понимая того, что он делает, Костя постучал в дверь и громко, раздельно сказал:

— Алексей, у меня письмо, которое пришло сегодня. Возьми его.

Дверь распахнулась.

Алексей со свечой в руках стоял на пороге. Он был одет, только без сапог.

— Где? — беззвучно спросил Алексей. — Где письмо?

Костя дрожащими руками вытащил из-под подушки розовый мятый конверт и, сев на кро-

вать, тупо смотрел, как, облокотясь на стол, долго читал Алексей тоненький листик, исписанный неровными крупными строчками.

VI

Заглушенная музыка и гул общей залы едва долетали до увешанного мягкими коврами дорогого кабинета у «Медведя». Лакеи убирали уже тарелки, оставив лишь вино и фрукты. Алексей в расстегнутом мундире сидел на полу у кресла, на котором сидела дама. Та опустила руку в кольцах и тихо гладила волосы Алексея, повторяя:

— Нет, я не могу без тебя. Теперь я это ясно поняла.

— А все-таки ты меня здорово напугала твоим письмом. Я принял его за полный отказ. Знаешь, до чего. Нанял извозчика с вокзала домой, потом думаю, чем черт не шутит, и велел ехать к тебе. Я поступил безумно, да?

— Милый, как я люблю тебя, милый! — повторяла дама.

— Это еще, знаешь, счастье, что револьвер мой куда-то затерялся. Не знаю, не Костя ли его благоразумно припрятал, а то в первую минуту я готов был бы…

Дама нагнулась и поцелуем прервала его слова.

— Прости, прости; как я мучила тебя! — шептала она.

— Да еще хорошо, что я денег достал сегодня. Князь выиграл двадцать тысяч, а я на него и наскочил. Кстати, что за история с ним произошла?

— Ах, это ужасно смешно, но раньше расскажи, как ты провел эти дни? — Дама села тоже на ковер и, прижимаясь к Алексею, смеялась.

Они болтали, как дети, прерывая слова поцелуями; казалось, рассказам не будет конца.

— Там была любопытная девчонка, — рассказывал Алексей. — Понимаешь, так сама и лезет. Сидим мы у нее в комнате, а она и говорит: «Помогите мне туалет переставить». Я в первую минуту не понял даже, а ведь туалет нашу дверь загораживал.

— Ну и что же? — с любопытством спросила дама.

— Да Костя помешал. В самую решительную минуту с твоим письмом сунулся.

— Эх ты, прозевал!

— Придется тебе вознаградить мои убытки!

Дама смеялась, и Алексей уже обнимал ее, целуя губы, шею, глаза.

— Милая моя Ани, всю жизнь за тебя отдам, — шептал он.

В эту минуту в дверь постучали.

— Кто там? — досадливо закричал Алексей. — Убирайтесь к черту!

— По важному делу требуют, ваше благородие, — говорил в дверь лакей.

— Я сейчас, Ани милая, вернусь к тебе, — сказал Алексей.

— Какой ты неудачливый. Всегда тебе письма приносят некстати, — насмешливо промолвила Ани и у зеркала стала закалывать шляпу.

— Ну, что такое? — сердито спросил Алексей лакея.

— Господин вас спрашивает, — отвечал тот.

— Дядя, какими судьбами! — воскликнул Алексей, узнав в старике, закутанном в огромную деревенскую шубу, Андрея Павловича.

Тот, растерянно поводя глазами, сказал тихо:

— Знаешь, у нас несчастье с Костей, — и сел на подоконник, подав Алексею клочок бумаги.

Алексей развернул и, подойдя к свету, прочел:

«Я виноват в смерти брата. Похороните нас вместе».

Декабрь, 1910 г.

С.-Петербург.

У фабрики
I
Завязка

«С разрешения начальства в квартире господина управляющего будет представлено»…

Читавший развевающуюся бледно-розовым флагом афишу пропустил длинное описание всех пиес, которые должны были быть разыграны в воскресенье 5-го февраля господами любителями при мануфактурной фабрике братьев Ворзенковых, и, найдя в самом низу: «Родериг, его друг, исполнит Ф. К. Лямкин», перечел эту строчку несколько раз с таким торжествующим вниманием, что не могло быть никакого сомнения в том, что именно это и есть сам Феоктист Константинович Лямкин, исполняющей роль «его друга». Стараясь не торопиться к желанной строчке внизу, Феоктист Константинович прочитал всю афишу с первого слова до последнего и хотел начать перечитывать ее снова, но, заметив выходящего из конторы Селезкина, сделал вид равнодушного рассеяния и, надвинув на затылок свою новую котиковую шапку, пошел по дороге.

— Господину актеру мое почтение! — окликнул его Селезкин.

Лямкин остановился и ждал подходящего, недовольно постукивая тросточкой по блестевшим на солнце новым галошам. И вместо того, чтобы ударить одному другого, может быть, даже убить тут же, на глазах всех обитателей Ворзенковой фабрики, прекрасно знавших об обстоятельствах той сложной истории, которой оба они являлись главными и враждебными действующими лицами, молодые люди вежливо поздоровались и медленно стали подыматься в гору, поддерживая разговор, далекий от того, что волновало их, изысканный по своей отвлеченности и на внешний взгляд оживленный.

— Значит, играем, — весело и приятно улыбаясь, говорил Селезкин. — Вот подите же, который раз приходится выступать, и в Москве, уж что здешняя публика, а все как-то страшно.

— Да вам еще что. Вот мне каково, роль — полкниги, да еще стрелять в третьем действии. А монолог, изволь его вызубрить. К тому же Андрей Сергеевич ведь ни в зуб толкнуть. Все мне да мне. Надо бы вам, Дмитрий Петрович, Родерига играть. Вы у нас опытный. — Лямкин хотя и не улыбался, но все же имел вид беседующего с луч-

шим и искренним другом.

— Вам печальные роли очень удаются, Феоктист Константинович. Прямо вы для них, как по мерке, — с твердым желанием сказать самое приятное возражал Селезкин, улыбаясь.

А нужны были бы им совсем другие слова.

Лямкину бы говорить:

— Что же, это правда, правда, что вчера Антонида Михайловна с вами, Дмитрий Петрович, не только на станцию перед всей фабрикой прокатила, но потом еще и согреваться будто бы заезжала к вам на квартиру? Да знаете ли, что не могу и не хочу я этого снести, что если бы поверить мне по-настоящему в это, так нельзя больше кому-нибудь из нас живым оставаться?

А Селезкину бы с улыбочкой отвечать:

— Не знаю, Феоктист Константинович, ничего не знаю. Антонида Михайловна барышня свободная, ни вам, ни мне за нее отвечать не приходится. С нее, если сможете, и спрашивайте. А наше дело сторона.

Но невозможно было так разговаривать ни тому ни другому, и шли они оба, молодые, празднично нарядные, по мягкому уже под февральским солнцем снегу, щурились от невыносимого блеска снежных полян и говорили о спектакле, о

переменах в администрации, обо всем, но не это.

— А весна-то уже на носу, — прощаясь, сказал Селезкин бессмысленно-весело.

— Да, да, вот скоро и Великого поста дождемся, — пытливым взором, от которого отвернулся собеседник, спрашивая, ответил Лямкин.

Гостивший у инженера Грузкина молодой писатель Оконников писал в это время у окна, в которое видна была ослепительная дорога в гору и оба неволей согласных соперника: «Милый друг, вы не узнали бы меня здесь. Я участвую в любительских спектаклях. Я танцую, хожу на лыжах, ряжусь, и все это с каким-то новым неудержимым восторгом. Как будто вдруг впервые открылась задернутая занавесь. Это мания величия, скажете вы, но отныне все: светит солнце, пламенеют закаты, влюбленные влюбляются, соперники убивают, все это для меня, главного зрителя и даже, если хотите, режиссера. Кстати, здесь забавные истории: так, некие господа Лямкин и Селезкин, конторщики, являются героями чистейшей романтической трагедии. Серьезно. Из следующих писем вы узнаете пятый акт, который, уверен, не собьется на водевиль, а пока вот вам завязка…»

II
Испанцы

Малиновая занавесь слегка колебалась от быстрых движений Антониды Михайловны Баварской, уже совсем готовой, в костюме Изабеллы, ходившей по сцене, изображающей тремя по углам живыми елками сад испанского короля.

— Холод-то какой, — говорила она, пожимая голыми плечами.

— Позвольте вас укутать, — жеманно изгибаясь, вызвался Селезкин, тоже уже в плаще, кудрях до плеч, с ярко накрашенными губами.

— Ах, оставьте вашу укутку при себе, — не то кокетливо, не то досадливо ответила та и, слегка ударив кавалера по носу кружевным своим платочком, спустилась в уборную.

— Получил? — смеялись свидетели.

Селезкин только ухмыльнулся и, повернувшись на каблучках, обратился к выходящему, будто случайно, как раз в эту самую минуту из уборной Лямкину:

— Да-с, отшила меня здорово Антонида Михайловна. Не умею за барышнями ухаживать.

Хоть бы вы, Феоктист Константинович, поучили обхождению.

— Начинаем, — крикнул, не дав ответить заметно побледневшему под легкими румянами Лямкину, Оконников, делая знаки актерам приготовиться к занавеси.

Следя за выходами, быстрым шепотом распоряжаясь, шутя со всеми, Оконников ни на минуту не забывал наблюдать трех участников трагедии, которые, если бы и замечали на себе его любопытство, никуда не могли бы спрятаться, так как все кулисы состояли из одной комнаты, неплотно перегороженной серым картоном на две половины: мужскую и дамскую.

Несколько преувеличивая остроту профессиональной своей наблюдательности, Оконников быстрым воображением сплетал в сцены за сценой случайно перехваченный взгляд мрачного и мстительного Родерига, улыбку, обращенную то к одному, то к другому и для каждого разный смысл имеющую, королевы Изабеллы, незатейливые шутку и комплименты веселого пажа Альберта, увивающегося около дам и только для зоркого взгляда более усердного и настойчивого с одной.

Сухой грим не искажал лиц актеров, только подчеркивая в каждом те черты, которые придала

им искусная и как бы знающая, что для каждого нужно не только в этой нелепой комедии из испанской жизни, рука режиссера. Слегка подведя глаза, приподняв брови, слабым румянцем еще более выделив желтоватую смуглость, гордым, страстным, готовым на преступление сделал он Родерига.

— Вот так Фетя! Чистый испанец, — крикнула задорно Антонида Михайловна, когда Лямкин отошел в сторону, последний раз осмотрев в зеркало свое тонкое в профиль лицо, с первыми не увеличенными гримировщиком усами, с глазами, блестящими более, чем всегда, с темными кудрями под белой шляпой с пером.

— Нельзя ли тогда и нас, Александр Семенович, подъиспанить немножко? — подскочил Селезкин.

— Вы и так хороши, — ответил ему в тон Оконников и небрежными мазками еще более румяным сделал его, без признаков усов, круглое лицо и несколькими точками у глаз придал им выражение веселое и наглое.

— Антонида Михайловна страсть испанцев обожает, — зубоскалил Селезкин, ломаясь перед зеркалом.

— Ну не всяких-то, не воображайте, пожа-

луйста, — с гримасой ответила та и, шутливо оттолкнув кавалера от зеркала, сама заняла его место. — Что же со мной вы сделаете? На испанку-то я, пожалуй, мало похожу.

— Нос сажей выпачкайте. Вот вам и испанка.

— Отстаньте, — крикнул на Селезкина уже Оконников, размешивая краски.

III
Poste d'amour

Кадриль танцевали плотно, стенкой на стенку. Селезкин вытащил и Оконникова.

— Я вам все фигуры спутаю, — отнекивался тот.

— Ничего-с. Какие там у нас фигуры. Черт ногу сломит. Антонида Михайловна вас визави желает, без вас не может.

— Пожалуйста, Александр Семенович, пожалуйста, я вам за это что-то скажу, когда дам переменять, — смеялась Баварская, маня черным веером, оставшимся у нее и на балу после испанского костюма.

От духоты и быстрых движений танцующих лампа на низком потолке, мигая, почти гасла. Уже наступал тот час, когда в томной безвольной

усталости все слова, все движения делаются свободными, удачными и легкими.

Лямкин не танцевал, оставаясь в числе солидных зрителей, заседающих на сцене.

— Что же, Фетя, или дамы не нашли? — на всю залу обратилась к нему Антонида Михайловна.

— Я еще подожду, — не улыбаясь, ответил тот на шутку.

— Подождите, подождите.

Оконникову казалось, что в этих коротко брошенных словах можно было уследить уже начало одного из тех действий, которые задумал он по своему плану.

— Что же вы мне сказать обещали? — спросил Оконников Баварскую, когда в толкучке сложных фигур они оказались рядом.

— За живое задело? Сказать скажу, только не сейчас. Где уж тут серьезно разговаривать, когда еле держусь. Совсем смокла. Вы зашли бы ко мне завтра после обеда. Я вас и сегодня ждала. Очень нужно поговорить, — бросала она слова, то приближаясь, то опять отходя к своему кавалеру.

— Я все собирался. Непременно приду.

— Да, да, а то я думала, вы и дорогу ко мне забыли.

Оконников мало обращал внимания на свою

собственную даму, Шурочку Лямкину, чего, впрочем, та, гордая, что с ней танцует такой важный кавалер, не замечала, не прерывая веселой, почти еще детской своей болтовни:

— Александр Семенович, с какой вы ноги начинаете? Не пускайте, если папаша начнет меня домой тащить. Он до часу позволил остаться, а я взяла его часы и переставила. Только впопыхах не заметила, вперед или назад. Так и не знаю теперь, сколько они показывают. Александр Семенович, начинайте, начинайте, потом опять ко мне назад, — щебетала она, перебивая самое себя и ответа не дожидаясь.

— Какая вы быстрая, Александра Константиновна. Мне за вами не поспеть совсем, — рассеянно улыбался Оконников, думая все об одном, о том, что случилось и что должно случиться с этими тремя людьми, странно и его, наблюдателя, соединившими с собой.

— Я быстрая, — тряхнув удальски головой, продолжала Шурочка, — мы все в нашем семействе быстрые. Только Феоктист, разиня, каравай прозевал.

— Разве вы тоже посвящены в дела вашего брата? Рановато еще, — с большим вниманием начиная прислушиваться к болтливой девочке,

сказал Оконников.

— Как бы не рано? Он мне всегда первой все рассказывает. Да у него и без рассказывания по лицу все возможно видеть.

— Что же можно видеть?

— Да все. А вам Антонида, наша принцесса, нравится? — спросила она, понижая голос.

— Очень, очень. Она милая, — ответил Оконников, даже сам немножко удивившись искренности своего тона.

— Еще бы. Задушила бы я ее, вашу милую, — с гневом крикнула Шурочка и, отвернувшись, замолчала.

— Кавалеры соло, дамы атанде, — командовал, бешено носясь, распорядитель.

— О чем это Шурочка так раскипятилась? — спрашивала Баварская, вертясь с Оконниковым. — Меня ругала?

— Вас.

— Какая дуся ты, Шурочка, сегодня! — крикнула Антонида Михайловна.

«Вот еще новый персонаж, — подумал, как бы занося в записную книжку, Оконников, возвращаясь к своей даме. — Мстительница за брата. Очаровательно. А где же сам наш Родериг?»

После кадрили танцевали чешскую польку с

похищением дам. Потом, извиваясь, как пристяжная, купеческая дочь Молниева со станции танцевала русскую, осыпая бриллиантовой пудрой своего кавалера, рослого и удалого конторщика Клеопатрова. Потом давно клевавший носом гармонист молча завернул свой инструмент в красный платок и сурово ушел домой, так что па-де-зефир остался неоконченным.

Несмотря на прекращение бала таким решительным образом, расходиться никому не хотелось. Играли в кошку-мышку, в голубя (игра с поцелуями), а Селезкин раздавал номерки для почты.

Быстро наполнился почтовый ящик. Много галантных любезностей, более чем смелых острот, ясных и туманных намеков разнес почтальон, одних заставляя гневно краснеть, других улыбаться ответно.

Некоторые из этих писем, найденные у дочери астраханского мещанина Антониды Михайловны Баварской, конторского служащего Феоктиста Константиновича Лямкина, литератора Александра Семеновича Оконникова, а также в жилетном кармане Дмитрия Петровича Селезкина, были представлены через несколько дней производящему следствие по делу, о котором

узнается в следующих главах, исполняющему должность следователя третьего участка господину Коровину.

IV
Свадьбы

Оконников плохо спал эту ночь: странные, влекущие и волнующие мечтания тревожили его. Просыпаясь, он с беспокойством хотел что-то из только что виденного вспомнить или снова заснуть, чтобы досмотреть прерванное видение, но в голову лезло уже другое: то отрывки из разговоров, то цифры, безнадежные и тягостные. После того, как он увидел себя отвечающим на экзамене математики, уже совсем утром, он больше заснуть не мог и, завернувшись сердито в одеяло, пролежал лицом к стене, беспричинное вдруг чувствуя раздражение и повторяя про себя тоскливое решение: «Надо ехать». Оделся он неохотно, с трудом принуждая себя к обычно радостной тщательности туалета. Отсутствие писем с утренней почтой еще больше расстроило его, хотя он не знал причин огорчаться. Хозяин, розовый, уже с улицы, рыжий и веселый, в высоких сапогах, пил чай в столовой, освещенной

почти весенним солнцем, ярким от нестерпимо сверкающего снега за окнами.

Подавая стакан с кофеем, Мария Евгеньевна, дама тонкая и считающая себя такой, сказала с усмешкой:

— Ну, как понравилось вам вчера наше веселье? Говорят, имели успех?

— Да, да, еще какой! Знаешь, Маруся, самой Молниевой подол отдавил, а она сказала: «Мерсите вам», — избавляя от ответа, хохотал хозяин.

Разговор быстро перешел на фабричные и семейные новости. Оконников был вял и рассеян, что, впрочем, не удивляло ни его, ни окружающих, так как утреннюю меланхолию без видимой причины знали в его характере. Только хозяйка спросила через некоторое время, расправляя складки своего розового с крупными цветами капота:

— У вас что-то сегодня более чем всегда томный вид. Неужели даже наши балы нервируют вас?

— Как и всякие празднества, я уже объяснил вам. Впрочем, я думаю скоро ехать, — ответил он не слишком любезно, вставая.

— Разве есть опасность? — не смущаясь его тоном, спросила дама опять.

Оконников молча пожал плечами и вышел в

гостиную.

Ни музыка, за которую он пробовал взяться, ни партия в кабалу с «уютной» тетушкой Клавдией Степановной на красном диване в гостиной, ни смех барышень, уже с утра набравшихся в доме к Люсе и Нюсе, хозяйским дочерям, ни курение папиросы за папиросой, обычно дающее пустоту и легкость мыслей, ни хождение по ярким, солнцем освещенным комнатам — ничто не успокаивало его. Развалившись в своем низком кресле, он не написал ни одного слова на соблазняюще блестевших чистых еще листах толстой царской бумаги, тщетно выводя на обратной стороне равнодушной рукой привычный вензель Л. Б.

Солнце в глаза и звонкие голоса из гостиной, казалось ему, мешали работать, но когда Мария Евгеньевна сказала с раздражившей его важностью: «Господа, пойдемте ко мне. А то вы мешаете Александру Семеновичу. Ведь он сел писать», наступившая тишина стала ему нестерпимой и, насвистывая, он вышел из комнаты.

— Нет, вы сегодня решительно раскисли, что с вами? Скажите, если это не потустороннее, — говорила Марья Евгеньевна, ласковостью скрывая свое любопытство.

— Право, ничего особенного. После всяких уве-

селений я всегда немножко раскисаю, к тому же, вероятно, пришло время ехать.

— Но почему? — заволновалась дама. — Но почему еще вчера все у нас так забавляло вас? Разве все наши темы вы исчерпали? — придала она ложную значительность последним словам.

— Исчерпать вообще ничего нельзя, — ответил, чтобы что-нибудь сказать, Оконников.

На веселые голоса барышень «едут, едут» все бросились к окнам.

На первой тройке с бубенчиками и коврами ехали Клеопатров и Молниева в лиловой ротонде и шляпе с розами. За ними менее шикарно тянулся целый поезд парных и одиночных саней, в которых сидело по трое и даже по пятеро. На последних совсем близко, как бы обнявшись, сидели Баварская и Лямкин, Селезкин же, стоя, правил. Голоса сквозь стекла не доносились, и только лица улыбались на солнце, да развевались гривы лошадей на быстром бегу по сияющему снегу.

— Ну что же, значит, наши свадьбы налаживаются, — сказала Марья Евгеньевна, складывая лорнет. — Клеопатров просил кроме трех саков невесте еще шубу себе. Значит, дали. А что просил и получил Лямкин, я уже даже не понимаю.

V
Прелестница

Отказавшись от общей прогулки, Оконников остался один в светлых, хорошо натопленных комнатах. Амуры с тюлевых занавесок знакомо улыбались; солнце, склоняясь к закату за прудом, заливало небо синим пламенем. Одиночество успокаивало его. Проиграв первое действие «Малоп», он вспомнил, что обещал сегодня посетить Баварскую. Легким и радостным вышел Оконников на улицу в своей коротенькой меховой куртке и шапке с ушами на белом меху; и, как всегда, недавняя печаль казалась ему далеко отошедшей.

Напевая только что игранный дуэт, подымался Оконников в гору к Подлесью.

— Здравствуйте, Александр Семеныч, — закричал Селезкин, не сразу им замеченный.

Конторщик бежал по откосу горы на лыжах; на минуту он остановился, направив лыжи в сугроб.

— К Антониде Михайловне? — сказал он с улыбочкой.

— Не знаю, — ответил Оконников, — куда ноги приведут.

— Она вас давно ждет. Нас прогнала. Чтобы не мешали.

— Кого же это вас?

— Меня и Феоктиста Константиновича. Ведь мы с ним друзья неразлучные, — говорил Селезкин и ухмылялся так искренно, простодушно, что нельзя было понять, глупость ли в его словах или наглость.

— Приятной беседы, — крикнув, круто направил он лыжи вниз и удальски покатился на твердый наст пруда.

Оконников проводил его глазами и уже молча стал медленно подниматься в гору.

Дом Баварской стоял не в общем ряду, а в стороне, по большими сугробами занесенному проулку. Из окна завидев гостя, Антонида Михайловна выскочила на крыльцо.

— Этим боком не так заснежитесь, Александр Семенович, — звонко и весело разносился ее голос.

— Ничего, я в сапогах, — также весело ответил Оконников и полез прямо через сугробы.

Точно в первый раз увидев, внимательно оглядел он ее голубое сатиновое платье с желтыми

лентами, круглое лицо с вздернутым носом, русыми волосами в вульгарной прическе наверх, с алыми, слишком алыми губами, карими, быстрыми в постоянной лукавости, слегка косящими глазами, ее стройную, чуть-чуть полную фигуру. «Носить бы ей сарафан, да ленту в косу. А то какая же это Изабелла. Подлесская прелестница», — досадливо как-то подумал Оконников.

В чистой, с кисейными занавесками и белыми дорожками по полу комнате все было приготовлено: две чашки с разводами, коробка печенья, варенье, яблоки. Старуха внесла тотчас же самовар и, поставив его, вышла, плотно притворив дверь. Солнце из бокового окна освещало на стене над комодом, накрытым вязаной салфеткой, карточку вольноопределяющегося и гитару на черном банте.

— Хорошо прокатились сегодня? — спросил Оконников, нарушая молчание, наступившее после того, как они сели друг против друга за стол и Антонида Михайловна налила чай, подвинула варенье, не переставая улыбаться детски мило, показывая за алой верхней губой беличьи ровные и мелкие белые зубы.

— Да, я люблю кататься, только не так, чтобы дух захватывало и сердце падало. Вот в Москве

мы катались…

«Гай-да тройка, снег пушистый, мчится парочка вдвоем», — напевала она, слегка раскачиваясь, мечтательно поводя глазами, розовая и золотая, освещенная косым солнцем.

— Ну что ж, здесь тоже были и снег пушистый, и парочка вдвоем, — засмеялся Оконников.

— То же, да не то — почти с искренней досадой ответила Баварская, встав, поправила прическу перед зеркалом и взяла гитару.

— Расскажите мне что-нибудь, Александр Семенович, или спросите — я расскажу.

Оконников тоже встал и, закурив, прошелся по комнате.

— Ведь вы курите, — протянул он ей свой портсигар.

— Нет, не сейчас. Табаком будет от меня пахнуть.

— Это нехорошо?

— От мужчин когда пахнет, я люблю, а от женщины… Разве можно поцеловать ее в губы, если табаком несет…

— Ну, это у всякого свой вкус, — и, молча пройдясь, Оконников спросил, остановившись:

— Вы выходите замуж за Феоктиста Константиновича?

— Кто вам сказал?

— Вы обещали мне отвечать и не сердиться на мои вопросы.

— Да я не сержусь. Я не знаю сама ничего. Мало ли что люди болтают. Вот про меня плетут, плетут. Да я без внимания оставляю, — говорила она, тихо пощипывая струны.

— Он вас любит. А вы? — твердо и упрямо продолжал свой допрос Оконников.

— А я не знаю.

— Дмитрий Петрович вам больше нравится?

— Оба они хороши, да не очень.

— Кого же из них вы любите, — спросил Оконников строго.

— Да может быть, никого не люблю, а может быть, люблю, да не из них. Разве мне заказано только эти два?

— Кого же? Кого? — как-то забеспокоился допрашиватель.

— Вас я люблю, — не опуская головы, не улыбаясь, ответила Баварская, слегка порозовев.

Только тихие струны нарушали наступившую тишину. Далеким и чужим вдруг все показалось Оконникову, и, поднеся руку к лицу, он не узнал своих собственных духов «Белой розы».

— Что же вы мне скажете, что вы мне посове-

туете? — спросила Антонида Михайловна слегка хриплым голосом.

— Вы будете поступать, как я вам скажу? Вы доверите мне вашу судьбу? — вместо ответа спросил Оконников.

— Да уж что же мне теперь делать другого?

— Ну, так ждите. А сейчас я пойду.

Они простились просто и весело. Провожая до крыльца, Антонида Михайловна спросила:

— Вы поедете завтра масленицу с нами жечь?

— Да меня никто не приглашал.

— Вот еще глупости. Я вас приглашаю.

— В таком случае непременно.

Возвращаясь по алым и синим от заката снегам, Оконников не думал о неожиданном признании. Только дома, в передней, причесываясь перед зеркалом, увидев свое бледное, тонкое, безбородо-моложавое лицо, свою бархатную темно-оливковую куртку, узко перетянутую в талии, он улыбнулся, подумав, как удивились бы все его друзья и подруги в Петербурге и Москве, когда он представил бы им Антониду Михайловну Баварскую. Не переставая улыбаться, прошел он по темной гостиной в ярко освещенную, шумную от голосов обедающих столовую.

VI
Кукушкино

— Конечно, если мосье Оконников предпочитает провести время с господами Клеопатровыми, Лямкиными и их дамами, то нечего и разговаривать, — гневно вставая, говорила Елизавета Матвеевна Тележкина, после того как все уговоры прийти к ней на вечер вместо того, чтобы ехать с конторщиками жечь масленицу, оказались тщетными.

— Я вообще никого не предпочитаю, — тоже со злым лицом отвечал Оконников, — я люблю и не люблю людей таких, какими они есть, будь то купцы, монахи, художники, но если говорить о сословиях, то, признаюсь, именно так называемые профессиональные интеллигенты мне всего менее близки.

Дама, ничего не ответив, с треском натянула перчатки и вышла в переднюю, куда Оконников ее не проводил.

— Рассвирепела наша Елизавета, — с улыбкой сказала Мария Евгеньевна, возвращаясь в залу.

— Она очень милая, толстая дама, но невыно-

сима, когда начинает нести знамя. Лица у них неинтеллигентные, скажите, пожалуйста, хоть на себя бы в зеркало посмотрела, — не успокаиваясь, восклицал Оконников.

— Ну, это, конечно, пустые фразы. Просто конкуренция с Баварской ей не особенно выгодна. Вот и пошло это разделение. Впрочем, ваш пыл я тоже не очень понимаю. Устроим так: вы поедете в Кукушкино, а потом заедете прямо к Тележкиным: таким образом, будут и волки сыты, и овцы целы, — примирительно улыбаясь, кончила Мария Евгеньевна.

Все уже разместились по саням, и целый поезд, еще не вытянувшийся в одну линию, заполнил беспорядочно улицу Подлесья, когда Оконников подъехал на маленьких санках к месту сбора. Отпустив кучера, он подсадил к себе толстого немца монтера в волчьей шубе, единственного еще нигде не устроившегося.

Поехали быстро и весело, перекликаясь и обгоняя друг друга. Закатное небо розовело, синими, желтыми, лиловыми, невозможными бороздами расколотое.

На безлесных близких и далеких пригорках вспыхивали, как сигнальные знаки, прощальные снопы.

Немец, кутая нос в шубу, молчал, изредка повторяя: «Удивительно, молодой человек, удивительно». Он покорно летел в мягкий снег, когда на кочке или раскате Оконников не успевал сдержать резвость коня.

— Ничего, — бормотал он, опять влезая в сани, — ничего, пожалуйста. Держите лошадку. А мне ничего. Очень даже приятно. Люблю русские развлеченья.

Спустившись с крутой горы, как-то неожиданно въехали в самую середину деревни, в наступивших сумерках безмолвную, с улицей, переполненной народом. С недоброжелательным и насмешливым любопытством проводили глаза парней фабричных гостей; девушки же, казалось Оконникову, стыдливо радовались.

Повернув за угол, круто остановились у высокой, в два створа, избы Кузичева, фабричного служащего.

Гостей проводили в холодную, чистую половину.

В первой суматохе раздевания, таскания столов и скамеек, откупориванья припасов Оконников чувствовал себя неловко. Никто не подходил к нему; Антонида Михайловна, едва кивнув головой на поклон, громко смеялась и шептала

что-то Селезкину. Лямкин возился с лошадьми. Только Шурочка, приехавшая позднее, сразу занялась им.

— Вы с немцем ехали. Что же, интересно? А у нас клеопатрова Молниева потерялась из саней. Мы едем, вдруг из сугроба к нам лезет. Потому так и запоздали. Смеялись страсть как. Я думала, лопну. — Оконников рад был ее болтовне.

Через несколько минут на столе появились самовар и закуска. После некоторой заминки все расселись, и легкая непринужденность вернулась к Оконникову, хотя все его герои как бы сторонились своего режиссера.

Клеопатров, оказавшийся рядом, разливал коньяк и уже лез целоваться, объясняясь в своих чувствах; Молниева через стол, жеманно щурясь, говорила:

— Что ж вы сегодня не в авантаже, Антонида Михайловна так далеко села. Вот вы бы к нам на станцию приехали. У нас публика понаряднее и барышень много. Вы такой ухажер. Сразу бы всех победили.

— Не слушайте ее, Александр Семенович. У них на станции все рожи мордастые или выдры, как она сама. А заполучить им вас уже давно хочется. Я сама слышала, она уговаривала Клеопатрова,

чтоб во время кадрили он пары спутал, да вас с ней поставил. Я уж во все глаза смотрела вас не прозевать, — шептала Шурочка почти вслух, так что Молниева, высокомерно поведя носом, встала.

— Здесь такая духота. Никакого передвижения воздуха. Прямо виски ломит. Жан, где мой сак, — обратилась она к Клеопатрову, — я должна освежиться!

— Мамочка, последнюю рюмашку и выкатимся, — лопотал тот.

Барышни поднялись за ней, и только самые усердные питухи остались в слишком хорошо самоваром, дыханием зрителей, лампой, папиросами нагретой комнате.

При одевании Оконников поддержал кофточку Баварской.

— Весело, — сказала она, завязывая косынку.

— Вы на меня сердитесь? — спросил Оконников.

— Я? Что вы. Разве я сердитая, Дмитрий Петрович?

— Апельсинчик с мармеладом, — пьяно ухмылялся тот.

Только охваченный свежим воздухом, Оконников почувствовал, что у него страшно болит

голова и тяжелая муть подступает к горлу.

Разбрелись по темной улице парами и небольшими кучками. Тучи, быстро несясь, открывали то звезды, то узкие края месяца. Оконников шел сзади с мало знакомыми ему конторщиками. Все смутным и вместе отчетливым, как во сне, представлялось ему, и себя видел он, будто наблюдая со стороны. Входя вслед за всеми по крутому крыльцу в чью-то чужую избу, Оконников пошатнулся, оглянулся, не заметил ли кто-нибудь этого, и, поймав себя на такой мысли, улыбнулся в темноте.

«Где я, зачем я здесь, в этом занесенном снегом Кукушкине? Я — слагатель „непонятных, влекущих нежным бесстрастным грехом строчек“, как писал…» — кто так писал о нем, вспомнить он не успел, так как дверь уже отворилась, и визгливой гармоникой, гулом голосов, духотой плотно наполненной людьми избы ударило во входящих.

— На нашу поседку милости просим, гости дорогие, — кланялась степенная, толстая хозяйка, сильно навеселе.

Как в банном пару, двигались люди, плясали сосредоточенно, с потными серьезными лицами, выводя частушку, по углам жали масло, смеялись, взвизгивая:

У часовеньки ходила,

Золоты часы носила.

Только просидев несколько минут, Оконников мог разбирать лица, цвета лент у девушек, узоры ситца, иконы в углу, ребят и старуху на печке, слова песни, движения пляшущих. Все это еще с большей ясностью, чем всегда, запомнилось ему и потом не забывалось. Гости держались кучей в сторонке.

— Ну что ж мы будем сидеть так. Давайте и мы плясать, Дмитрий Петрович, — закричала Антонида Михайловна.

— Нет, уж вы одна, — упирался Селезкин сконфуженно.

— Девки, девки в круг, — закричали парни и стали выталкивать своих дам на середину, сами становясь хороводом.

Оконников тоже встал рядом с Лямкиным. Девушки затянули длинную песню, изображая танцами то, что пели. Антонида Михайловна плясала с ними.

Кого любит,

Того поцелует —

визгливо оборвалась песня. Девушки, закрываясь руками, старались не исполнить последнего

обряда.

Антонида Михайловна первая, не колеблясь, не обертываясь, быстро подошла к Селезкину и поцеловала его в самые губы. Лямкин выдернул свою руку из руки Оконникова.

— Вот так барынька. Здорово. Вот и вы нас так, — приставали парни к уже сдающимся девушкам.

Даже сам Селезкин казался растерянным таким публичным доказательством. Он улыбался пьяно и виновато.

— Можно, можно разве это снести? Вы должны… — шептал Оконников Лямкину, хватая его за руку в темных сенях, когда все шумной гурьбой выходили на улицу.

— Отстаньте хоть вы-то, — грубо вырвав руку, крикнул тот.

Большой костер уже пылал; ребятишки, вытаскивая снопы горящей соломы, разбегались по переулкам, и вспыхивали костры по всей деревне.

— Через огонь, через огонь прыгать! — И первая Антонида Михайловна, сбросив шубу на руки Селезкина, скакнула в пламя, скрывшись в дыму. За ней с визгом прыгали другие барышни и конторщики. Клеопатров, прыгнув, сел в самый

огонь, и его вытащили сильно опаленного.

Деревенские тесным кругом наблюдали из темноты за играми незваных гостей, посылая шутки и восклицания все менее любезные.

— Ты что же это Машку-то трогаешь? Крепостная она што ли тебе или в морду хочешь? — раздался чей-то сильно пьяный голос.

— Ну, ну, потише. Уж и пошутить нельзя, не растает, — оправдывался кто-то из приезжих несколько испуганно.

— Ты с своими фабричными гулящими и шути, а наших не замай. Да и все убирались бы к чертовой матери.

Барышни, встревоженные неучтивыми словами, спешили ретироваться. Из толпы поощрительно смеялись.

— Нет, я тебя и не отпущу. Может, она уже и давно в твоих полюбовницах ходит.

— Да что ж это? Братцы, заступитесь, — призывал голос покинутого на жестокую расправу.

Несколько конторщиков, собравшихся было сопровождать барышень, нерешительно повернулись назад. Лямкин и Селезкин были в числе их. Оконников пошел, не отставая ни одного шага от Лямкина.

В темном сугробе уже копошились.

— Полно вы, что за драка, — сказал кто-то неубедительно.

— Да что вы смотрите на них! Наших девок портить!

— А, разбой! Вот как я их разнесу! Васька, где мой браунинг, — орал Клеопатров и первый бросился вперед. Остальные последовали за ним, не то убеждая, не то наступая. Оконников не отставал; чья-то рука сшибла его шапку, и, нагнувшись пошарить ее, он ясно видел, как блеснул нож от головни, пролетевшей над их головами и на минуту осветившей также лицо Лямкина, совсем близкое, почерневшее, с сжатыми губами и глазами, полузакрытыми, как бы в страстном томлении.

В быстро наступившей опять темноте несколько секунд продолжалась свалка. Оконников, смятый, упал лицом в снег и не пытался встать.

— Господи, ведь убили кого-то. — И все стало тихо, Оконников подумал, что это говорят про него, приподнялся и громко засмеялся: «Ну, еще не совсем», но никто не ответил на его смех.

Встав, он увидел Александра Петровича Селезкина, лежащего ничком в снегу у самого костра. Котиковая шапка его упала в огонь. Еще не понимая, что случилось, Оконников сказал: «Шапка-то

сгорит», — но вдруг догадавшись, в чем дело, по молчанию столпившихся кругом недавних бойцов, остановился доставать из костра уже тлеющую шапку.

VII
Подлесье

Оконников достал уже давно не надеваемые городские одежды: серый с желтыми полосами пиджак, черный бархатный жилет и остановился над галстуками: все они были слишком ярки для того, чтобы придать вид скромного и почтенного достоинства, с которым подобало ему сегодня держать себя.

Он выбрал лиловый с легкими крапинками и, одевшись, вышел в гостиную осмотреться в зеркало.

— Готовы? — окликнула его Мария Евгеньевна, сидевшая в большом платке на диване с ногами.

— Скажите, — заговорила она после некоторого молчания, — как все это случилось? Все эти дни я думаю об этом. Пьяная драка, свалка, все это так обычно для наших мест. Как наш кучер рассказывал, возвращаясь с праздника: «Большое гулянье было, пятерых убили, не считая стару-

хи», — а старухе отрубил голову ее собственный сын, когда она не дала ему денег. Но здесь что-то было не то, не то.

— Вам хотелось бы, чтобы было не так просто? — спросил Оконников у зеркала, оправляя воротничок.

— Да, Александр Семенович, не так просто, — ответила она тоном, как показалось Оконникову, почти догадавшейся и, сам не понимая зачем, он повторил:

— Да, не так просто, Мария Евгеньевна.

Дама, еще плотнее закутавшись в платок, не спрашивала больше, как бы зная, что какое-то признание уже стало необходимым и без расспросов, ожидая его с нескрываемым волнением, которое помимо воли передавалось и ее собеседнику.

Оконников закурил и прошелся по комнате.

— Ведь убийца неизвестен, — сказал он.

— Да, но вы-то, вы-то его знаете, — произнесла Мария Евгеньевна, почти до шепота понижая голос.

— Я не понимаю, почему вам хочется таких высоких трагедий. Я же не поклонник уголовных психологий во вкусе Достоевского.

Но улыбаясь, стараясь говорить спокойно и

досадливо, Оконников в первый раз с вечера в Кукушкине почувствовал, что что-то непоправимое и страшное совершил он, что сам он не знает, к чему это все приведет его, к каким словам, к каким поступкам.

— Да, конечно, я знаю убийцу, — быстро заговорил он, не успевая даже думать раньше слов, как будто кто-то другой за него произносил их, — то есть я знаю, что Селезкина убил я. Я задумал и знал, что так будет, еще когда никто об этом и мысли не имел.

— Что вы говорите! — вскрикнула Мария Евгеньевна, подымаясь. — Не может быть. Вы больны, голубчик Александр Семенович. Я совсем не об этом. Я думала, Лямкин вам признался, помните, вы намекали. Но чтобы вы! Не может быть, замолчите, замолчите, какой ужас! — И она выбежала из комнаты, закрывая голову платком.

— Что за вздор, этого только недоставало, — сам не замечая, что повторяет слова вслух в пустой уже комнате, говорил Оконников и, взглянув в зеркало, не узнал он своей кривой улыбки, запекшихся губ, блуждающих глаз, лица, почерневшего и чем-то странно напомнившего ему лицо Лямкина, освещенное летевшей головней, там, в Кукушкине.

Впрочем, скоро он, овладев собой и выходя из дому в городском, весеннем уже пальто, что-то напевал.

В гору подыматься было трудно по сильно подтаявшему снегу. Солнце село, и розоватые облака в первый раз уже по-весеннему манили сладкими и томными обманами.

Весело и спокойно окликнув впереди его шедшую Шурочку, болтал Оконников с ней, даже с некоторым удивлением вспоминая, как по-другому мог звучать его голос несколько минут тому назад.

— А что же ваш брат? — спросил Оконников.

— Фетя прямо с фабрики придет. Ведь вот как случилось?

— Что случилось?

— Да Дмитрия Петровича убили.

— Вам жалко?

— Конечно, жалко, такой молоденький, хорошенький, хотя мы с ним мало знакомы были. Ведь Антонидин выкормыш, а она своих не очень-то к другим барышням подпускает.

— А как Феоктист Константинович к этому всему относится? — спросил Оконников, пристально смотря куда-то в сторону на серые ветки голых берез.

— Ему очень неприятно. Они товарищи считались, и потом, совсем на руках почти у него умер Дмитрий Петрович. Ведь вы тоже были около него тогда?

— Да, мы все стояли рядом.

— Его сегодня к следователю вызывали.

— Ну, и что же?

— Показал, как было. Кукушкинские не признаются. Пьяны, говорят, все были, ничего не помним. Фетя тоже ничего не видел.

— А нож не нашли?

— Вот про это уже не знаю. Да вас тоже, вероятно, вызовут.

— Наверно.

Они поднялись уже в деревню. Часовня стояла у околицы на пригорке. Батюшка в низких розвальнях перегнал их и, спешно перекрестившись, вошел, сгибаясь, в часовню. Ожидающие на паперти входили за ним, бросая папироски и болтая.

Оглядев с вдруг нахлынувшей тоскливостью, как бы в последний раз розовые облака, далекие во все стороны снега полей, синевший за прудом лес, Оконников вошел в низкую, скупо освещенную часовню, где батюшка, торопливо облачаясь, уже начинал печальными возгласами

панихиду о новопреставленном рабе Димитрии. Со света Оконников сразу не мог ничего разобрать. Он протолкался от входа, и первое, что разглядел, привыкнув к сумеркам, было розовое лицо, улыбавшееся, с полузакрытыми глазами, со светлыми, сбившимися на лоб смешными и трогательными кудельками.

Оконников в первую минуту как-то не понял, что это лицо Дмитрия Петровича, лежащего в гробу в том самом парадном коричневом пиджаке, в котором он танцевал неделю назад на балу после спектакля. Он совсем не изменился: крахмальный воротничок и криво завязанный галстух совсем делали его живым; образок на сложенных руках и погребальный венчик на лбу казались странными, почти кощунственными при этой улыбке, не то наглой, не то глупой, которая запомнилась Оконникову с того дня, когда повстречал он Селезкина по пути к Антониде Михайловне.

Зажгли свечи. Шурочка, стоявшая рядом с Оконниковым, шепнула:

— Евоная мать, сегодня приехала, — и указала на маленькую, беленькую, в купеческой шляпке с цветком старушку, плакавшую беззвучно у самого гроба. Оконников оглядел ее с тупым и

тоскливым любопытством и, отвернувшись, стал рассматривать других.

Баварская в черной косынке стояла спереди и, не оглядываясь, истово крестилась, задерживая руку у лба. Остальные стояли со скучающе-равнодушными лицами. Елизавета Матвеевна Тележкина, войдя, сразу басистым шепотом заговорила кому-то: «Почем телятину брали у Мамашиной?» Потом, поймав взгляд Оконникова, приветственно закивала головой и спросила на всю часовню:

— Отчего не зайдете, Александр Семенович? Я про вас кое-что знаю.

Оконников отвернулся, будто не заметив. Обиженная дама, шурша шелком, шумно закрестилась. Неожиданные и неподходящие мысли приходили Оконникову.

Он крепко задумался и очнулся только тогда, когда кто-то тронул его за локоть.

— Вам нехорошо?

— Нет, право, ничего, — слабо ответил Оконников, поднимая глаза, но вдруг почувствовал ладан, который еще с детства действовал на него странно, сладко заволакивал и кружил голову. Все смотрели на него.

Лямкин, взяв под руку, как-то особенно осто-

рожно и ласково вывел его на галдарейку, окружавшую часовню.

— Теперь лучше? — спросил он с нежной участливостью.

— Совсем хорошо, совсем хорошо, так славно, — говорил Оконников, радость какого-то освобождения чувствуя от снежного воздуха, от не совсем еще побледневшей зари и ласковости Лямкина.

— Сморило вас, душно уж очень, — сказал тот.

— Знаете, — заговорил Оконников через минуту, — знаете, тогда там в Кукушкине была минута, когда я колебался. Я чувствовал, что одно движение, одно напряжение, и ничего бы не случилось, но я не захотел.

— Про что вы говорите? — спросил Лямкин и взглянул, вскинув густыми ресницами, прямо в глаза глазами встревоженными, но непритворно недоумевающими и невинными.

— Нож отклонить ведь можно было одну минуту… Помните, но я не захотел, и знаете для кого, для вас.

— Что с вами, Александр Семенович? — пугливо сказал Лямкин.

— Я вас не выдам, — еще тише шептал Оконников, — нож я припрятал, когда за шапкой

нагнулся. Отдам вам.

— Вы с ума сошли! — вспомнив вдруг и письма в почте, и слова Оконникова, и сегодняшний допрос, догадавшись, к чему шло это все, гневно закричал Феоктист Константинович, побледнев нечеловеческой бледностью.

— Вот вы куда гнете? Меня запутать хотите. Я при всем народе сейчас объявлю, как дело было и чего вы хотели. Да знаете, если бы убивать я хотел вас, вас бы убил. Вы на дороге мне стали, этот так, глупость одна.

— Тише, тише, ради Бога, успокойтесь, могут услышать, мы поговорим потом, — шептал Оконников.

— Да и говорить-то нам не о чем. — Лямкин, отдернув свою руку, быстро пошел вниз к деревне.

Из часовни вышли инженер Грузкин и невысокий старичок в валенках выше колен и дубленом полушубке.

— Господин Коровин, — познакомил как-то сумрачно Грузкин.

— Очень приятно, очень приятно. Вы и будете литератор Александр Семенович Оконников? Очень приятно, — обеими руками тряся руку, шамкал Коровин.

VIII
У ворот

Мария Евгеньевна не вышла к вечернему чаю. Грузкин был молчалив и пасмурен.

Барышни робко и пугливо жались друг к другу и разошлись сейчас же по своим комнатам.

Смутная тревога и досада овладевали Оконниковым. О завтрашнем допросе он не думал, но вдруг все происшедшее теряло смысл и делалось тягостным, ненужным и пугающим. Хотелось забыть все, что произошло, и особенно последний разговор с Феоктистом Константиновичем, такой неожиданный и, как казалось Оконникову, незаслуженный, но заставить себя думать о Петербурге, литературных планах, о знакомых не удавалось, будто ничего не осталось больше, кроме странных и страшных дней между Кукушкиным и Подлесской часовней.

В темной гостиной Оконников пробовал петь, но хриплым и чужим казался ему собственный голос, и свечи у пианино наполняли его детским страхом.

Несносная и всегда казавшаяся какой-то по-

зорной боль на вид обманно здорового зуба, возобновляющаяся часто в самые неподходящие и неудобные минуты, уже начиналась и не предвещала возможности заснуть и тем привести к утренней стройности все разорванные, ненужные, страшные мысли, власти которых он не умел уже сопротивляться.

Это была не жалость, не раскаяние, не страх, а какое-то ощущение пустоты, которая заполняла все чувства, все мысли и все рассуждения, приводила к одному тупику.

«Ну что ж, — думал Оконников почти вслух, мучительно преодолевая несносную боль, — ну, убил я, ну, не нужно это никому оказалось. Ну что ж, ведь не господина же я Коровина боюсь, не огорчаюсь же я невниманием какого-то Лямкина. Но что же тогда нужно и важно?»

И господин Коровин как нарочно тоже не поддавался напускному равнодушию, хитро как-то подмигивая и что-то суля еще, от чего холодно и мерзко становилось, и обида, нанесенная Лямкиным, не заживала. И главное, ни один исход не пленял радостной надеждой избавления. Хотелось лечь к стене лицом и лежать так без конца, всю жизнь.

Оконников вспомнил, как когда-то на улице он

видел пьяницу, вытолкнутого из трактира. Все было прожито, ничего больше не хотелось. Как вытолкнули его головой в грязь, так и остался он лежать, хотя был уже не пьян, но куда же было идти и чего желать?

Оконников накапал на сахар горьких и опасных капель, от которых доктор предостерегал его, и, не успев раздеться, повалился на неоткрытую постель, не заснув, а как-то перестав чувствовать все в тяжелом, давящем голову и грудь забытьи.

Впоследствии Оконникову казалось, что видел он в эту ночь Дмитрия Петровича. Будто бы тот пришел к нему в комнату и ухмыльнулся, глупо-глупо.

— А шапка-то моя?

Оконников заметил, что у него противные нечищенные зубы с зеленым налетом, и стал он ему так мерзок, так мерзок.

— Ну что же? — спросил Оконников.

— Я вам сейчас покажу, — ответил тот, засмеялся своим блеющим смехом и вышел.

Был ли это сон, или бред, или отрывок из какого-то еще давнего разговора, Оконников вспомнить не мог, впрочем, особенного значения этому и не придавая.

Проснулся Оконников от страшного, как ему

показалось, стука.

Лямкин стоял под окном и стучал пальцем в стекло. Оконников первую минуту заметался по комнате, не зная, что нужно сделать, потом открыл форточку. Веселым солнечным морозным утром ударило в него, и, не понимая еще того, что говорил ранний посетитель, он улыбался в ответ.

— Выйдите-ка, Александр Семенович, — сказал Лямкин.

— Сейчас, сейчас. — И радостно захлопотав, натягивая сапоги, улыбался Оконников, будто не было вчерашнего вечера, будто не по тому же страшному и непоправимому делу выстукивал его Феоктист Константинович.

Лямкин похудел и побледнел за ночь, щеки чуть-чуть впали, глубоким кругом обозначились глаза, и еще реже поднимал он свои длинные черные ресницы, говорил медленно глухим и часто прерывающимся голосом.

Но спокойствие чего-то уж крепко решенного заметил в нем Оконников, что-то иноческое, если не мученическое, в его печальной, но твердой тихости.

— Я хотел вас предупредить, Александр Семенович, чтобы вы показали сегодня на меня. Я

признаюсь, — говорил тихо Лямкин.

— Как на вас? К чему это? Разве вы убивали? — сам не зная почему, вдруг усомнившись в том, в чем так бесповоротно был убежден, воскликнул Оконников.

— Нет, я неповинен, но лучше на каторгу пойти, чем еще такую ночь перенести, как сегодня. Вывертываться каждую минуту, бояться, что поймают тебя на слове, биться, как бы оправдывать себя, невинного ни в чем. Да и не выбиться, улики есть, на других подозрения нет, а следователь наш не таков, чтобы оставить на суд Божий что-нибудь. Он скрутил. Да и виновен я.

— В чем же, Феоктист Константинович?

— Мысли темные имел. Ненависть имел такую, что мог бы и в самом деле до ножа дойти, да не успел, видно.

— Против Дмитрия Петровича?

— Нет, Александр Семенович, — Лямкин в первый раз поднял глаза на собеседника, — нет, уж говорил я вам, против вас, против вас был бы мой нож.

— Да за что же, Феоктист Константинович, ведь я так старался, для вас все устроить хотел.

— Вот это-то устройство и трудно было мне сносить. Если бы любили вы Антониду Михайловну,

как она вас, ну, погрустил бы и утешился. А то и себе не берете, и от себя не отпускаете. Ну, вот и устроили. Нестерпимо это ваше устройство. Теперь я утешился, все не по-вашему вышло. Сегодня у меня радость большая.

— Какая? — чуть слышно спросил Оконников, раздавленный всем, что он услышал, и вдруг понял.

— Матушка с Антонидой Михайловной помирилась, и обе решили, как быть.

— Ну и как же быть? — как бы не про себя спрашивая, произнес Оконников, вспоминая мать Лямкина, высокую, строгую старуху в очках, с гладко причесанными седыми волосами.

— Если засудят, отбуду. Антонида Михайловна со мной поедет. А может, и помилуют.

— Да послушайте, значит, все это неверно, значит, вы невинно страдать будете. Это невозможно.

— Мне все равно теперь, только бы это кончилось.

— Что это?

— Ваше устройство. Власть ваша над нами, да и нет ее больше, нет больше над нами.

— Вы ненавидите меня?

— Нет, теперь уже нет. Ведь вы добра нам же-

лали, загубить человека за нас хотели. Да не так все надо было делать. Вот и случилось.

— Как быть-то теперь? — спросил уже совсем про себя Оконников растерянно.

— Не знаю уж, как быть вам. Для себя-то знаю твердо. Прощайте, Александр Семенович. Лихом не вспомню. Не огорчайтесь уж так-то. Пройдет, — совсем ласково добавил он, беря за руку Оконникова.

— Прощайте. — Он нагнулся, поцеловал как в столбняк впавшего Оконникова и быстро пошел к фабричным воротам.

Когда он уже скрылся за высоким, как монастырь ограждающим фабрику, белым забором, Оконников опомнился, хотел догнать его, сказать что-то, но сторож-татарин с огненно-красной бородой, верный и равнодушный страж, преградил ему дорогу в воротах.

29 июля 1909.

Парахино.